И свет — синеватый и белый.
И ветер с прохладной реки
Скользит по руке онемелой
Касаньем прохладной руки...

✪

Я с солнечной, подталой стороны
К опушке леса подходил. Пахнуло,
Как от нагретой избяной стены...
Смолистым жаром в грудь толкнуло.
Хотел ступить вперед — и не ступил.
И в миг короткий принял в сердце муку.
И счастье встречи с домом пережил.
И вечную оплакал с ним разлуку.

Семен Липкин



Память

В памяти, даже в ее глубочайших
провалах,
В детской поре или в поздних годинах
войны,
В белых, зеленых, сиреневых —
буйных и вялых —
Вспышках волны,
В книгах и в шумной курилке публичной
читальни,
В темных кварталах, волшебно сбегающих
в порт,
Где пароходы недавно оставили дальний
Вест или норд,

В школе, где слышались резкие звуки
вокзала,
В доме, где прежних соседей никто
не зовет, —
Ясно виднеется все, что судьбой моей
стало,
Все, что живет.

Там — отступили ворота от уличной кромки,
Где расстреляли в двадцатом
рабочих парней,
Там — уводили на бойню в тот полдень
негромкий
Толпы теней.

Можно забыть очертания букв полустертых,
Можно и море забыть и, забыв, разлюбить,
Можно забыть и живущих, но мертвых,
но мертвых
Можно ль забыть!

Пила

Оркестрик играл неумело,
Плыла папиросная мгла,
И сдавленным голосом пела,
Волнуясь и плача, пила.
Не та ли пила, что от века,
Насытившись мясом ствола,
Сближала очаг с лесосекой,
Несла откровенье тепла!
Не та ли пила, что узнала
Тайги безграничную власть,
И повести лесоповала,
И гнуса, гудящего всласть!
Да что там, нужны ли вопросы!
Остались лишь мы на земле
Да тот музыкант горбоносый,
Что водит смычком по пиле.

По дороге

Вдоль забора к оврагу бежит ручеек,
А над ним, средь ветвей, мне в ответ
Соловей говорит по-турецки: йок-йок,
Это легче, чем русское: нет.
Потому что неточен восточный глагол,
И его до конца не поймем,
Потому что роскошен его произвол
И надежда упрятана в нем.
Я не вижу, каков он собой, соловей,
Что поет на вечерней заре.
Не шарманщик ли в серенькой феске своей
Появился на нашем дворе!
Пахло морем, и степью, и сеном подвод.
Миновало полвека с тех пор,
Но меня мой шарманщик и ныне зовет
Убежать к ручейку за забор.
И когда я теперь в подмосковном бору
Соловья услыхал ввечеру,
Я подумал, что я не умру, а замру
По дороге к родному двору.

Свадебный поезд

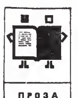
Снова свет плодоносен,
Снова красок и звуков игра.
Азиатская осень,
Словно свадебный поезд, пестра.

Вновь деревья танцуют
И поют, как друзья жениха,
А невесту кольцуют,
И она в это время тиха.

Вскинув руки и ветки,
Пляшут старцы, и пляшут стволы,
И кусты-малолетки
Необычно и ярко смелы.

Понимаешь яснее,
Что деревья и люди — родня.
Наши связи древнее
И прочнее мгновенного дня.

Для меня в этой пляске —
Обновляющий праздник огня,
Будто звуки и краски
Заиграли в душе у меня.



ПРОЗА

Инна
ГОФФ



ТРИ РАССКАЗА

по вечерам они пели

Они жили во дворе госпиталя, во флигеле. Три военных девушки, три медсестры — Мария, Тоня и Валя. Они жили в проходной комнате, на виду у всех. Днем и ночью ходили мимо них люди, хлопали двери, иногда загорался свет. Девушки не роптали. Они развели свой уют, похожий на походный уют землянок. Три аккуратно заправленные койки, накрахмаленные, голубоватые от синьки занавески на окнах, черная воронка репродуктора на стене, зеркало с фотографиями, заткнутыми за рамку: довоенная Мария в соломенной шляпке с матерчатыми цветами и Мария в военной форме, в портупее, перетянувшей ее пышную грудь, в гимнастерке с белым подворотничком — Мария любила сниматься.

Все трое просились на фронт, а попали в тыловой госпиталь и теперь подавали рапорты в военкомат и писали жалобы. По вечерам, в свободное от дежурств время, они пели или спали сладко, как спят только в молодости, разметав по подушке светлые волосы. Возле каждой койки, свесив голенища, спали их армейские сапоги.

Я любила слушать, как они поют под гитару. На гитаре играла Тоня — мордастенькая, крепко сбитая, с пухлыми детскими губами. Она играла, а Мария с Валей пели на два голоса: Мария — низким, грудным, а Валя — тонким, высоким.

Ой, вы, хлопцы, моряки,
У вас алн губки,
Возьмнть меня из собой,
Йиду в одиний юбке.

Валя была маленькая, с толстой косой вокруг головы, с двумя треугольниками в петлицах — старшая сестра отделения.

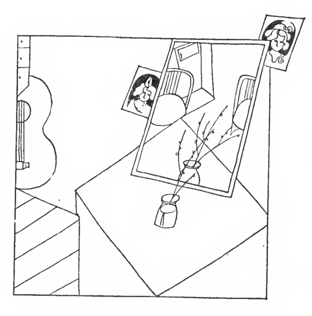
Одии матрос говорит:
«Поезжай со мною,
Я й иа платье тебе дам,
Только будь женою».

Санитарные поезда приходили ночью. Флигель просыпался. В проходной комнате загорался свет: девушки спешили в госпиталь принимать новую партию раненых.

Пойду в маменьки родиой
Попрошу совета,
Что я еду з моряком
Край белого света.
Мать совета не дает:
«Брось, дочка, матроса,
Матрос замуж нс возьмет —
Только надсмеется...»

А свет в госпитале, казалось, никогда не гас. Это потому, что к флигелю он был обращен своими всегда освещенными коридорами.

Не послушалась оиа
Мамина совета,
Понхала з моряком
Край белого света.



Рисуики Г. ВАНШЕНКИНОЙ.

Живе год, живе другой,
Горюшка не знает,
А по маменьке родной
День и ночь скучает.

Госпиталь стоял, как корабль, готовый к отплытию. В мерцающей снегом темноте двора автобусы причаливали к его подъезду, как катера к океанскому пароходу. Раненых ждали. Были готовы палаты. В санпропускнике топилась баня, дежурили парикмахер и статистик. Измученные болью и дорогой, раненые мечтали скорей очутиться в тепле и тишине госпитальных палат. «Скорей, скорей, скорей!»...

Статистик еле успевал записывать данные. Фамилия, имя, отчество. Место рождения. Год рождения. Куда ранен...

Это было в сорок первом. Основной возраст раненых: двадцать один — двадцать пять лет.

Лютовал мороз в Сибири, но в госпитале было тепло. Длинные коридоры с фикусами в кадках и кожаными диванами, облитыми чернилами,— принадлежность бывшей здесь раньше школы. Светлые палаты — бывшие классы. Кое-где даже не сняли черные доски.

Сидит раз мать у окна,
Идет дочка Нина,
На руках она несет
Матросенка-сына.
«Прими, мать, прими, родна.
Семья небольшая,
Мой сыночек будет звать:
«Бабушка родная»...
«Ступай, дочь, ступай туда,
С кем совет имела,
Моего совета ты
Слушать не хотела...»

По вечерам в актовом зале показывали кино. Приезжали артисты. Все, кто мог двигаться — хотя бы потихоньку, на костылях или держась за стену,— собирались в зале. Зал был хороший, большой. Даже с резной деревянной галеркой.

— Валя, сюда!—кричали раненые.— Сюда, к нам!

— Мария! Значит, так? Изменяешь? Запомним!

— Тоня, Тонечка! Ты куда? Сидай со мной! Я ж тебе место припас.

— Хлопцы! Не бачили нашу сестричку?

Зал дышал теплом, радостью, одним горячим дыханием. Медсестры сидели со «своими» — у каждой были свои. Своя палата. И среди этих своих был свой, кто-то один, с кем хотелось сесть рядом.

Война была еще вся впереди. Одним предстояло дойти до Берлина, другим пасть смертью храбрых под Сталинградом. Предчувствие скорой разлуки тревожным заревом освещало каждую, самую короткую любовь. Да и кто бы мог с уверенностью сказать: короткая эта любовь — не на всю ли жизнь?.. И не последняя ли в жизни?..

Первой на фронт уехала Мария. Уезжая, она раздарила подругам свои фотографии, Вале досталась военная, а Тоне — в шляпке с матерчатыми цветами. Ей хотелось оставить что-нибудь и мне на память, но у нее ничего больше не было. И тогда я попросила ее списать слова этой песни. Я помню, как она сидела на краешке своей — и уже не своей — койки, как-то по-иному, строго и отчужденно заправленной, и выводила на листке бумаги: «Не послушалась она мамина совета»... Почерк у нее был крупный, детский.

— А ты бы послушалась? — спросила я.

— Что? — Она не поняла. Посмотрела на меня синими, отрешенными глазами.

— У нее матери нет,— сказала Тоня.— Она у тетки воспитывалась.

...Потом мы пели втроем: я, Тоня и Валя. Верней, Тоня играла, а мы с Валей пели на два голоса. Петь за Марию мне было трудно, я все сбивалась со второго голоса на первый.

Мне было четырнадцать лет, я ходила в госпиталь. Работала в санпропускнике, помогала сестрам в палатах. У меня тоже были свои палаты и свои раненые. Я считала себя вполне взрослой.

Взяли на фронт и Тоню. Она оставила нам гитару, но мы с Валей не умели играть на ней. Впрочем, и Валя скоро ушла из флигеля — поселилась на частной квартире. Говорили, что к ней похаживает раненый политрук из одиннадцатой палаты. И что Валя ждет ребенка. Внешне она была все такой же: маленькая, с толстой косой вокруг головы, с двумя треугольниками в петлицах — старшая сестра отделения.

Как-то придя на дежурство, я подкралась к ней сзади и закрыла ей глаза холодными, с мороза ладонями. И ладонями почувствовала слезы. Валя обернулась ко мне.

— Нету больше нашей Марии,— сказала она.— Начальнику госпиталя пришло письмо...

Молодость не бережлива, но листок с песней, которую Мария записала мне на память, у меня сохранился. Он слегка пожелтел и потерся на сгибах, но слова хорошо различимы — Мария писала чернильным карандашом. Я перечитываю их, и перед глазами встает Сибирь, первый год войны, зимний морозный вечер, негаснущие госпитальные окна и три девушки, три военные медсестры — Мария, Тоня и Валя.

Чем привлекала их эта песня? Почему они так часто пели ее? Песня эта, как большинство народных песен, целый роман. По ней, как говорится, можно «кино ставить». Думаю, что нравилась им героиня этой «песни-романа», была близка их душе. Решительная («Йиду в одний юбке»), влюбчивая, неудачливая, поплатившаяся за то, что не послушалась «мамина совета». Трогало ее наивное желание мать разжалобить. («Мой сыночек будет звать: «Бабушка родная»). И то, как не говорит она прямо, что матрос ее бросил, а лишь намеком: «Семья небольшая»...

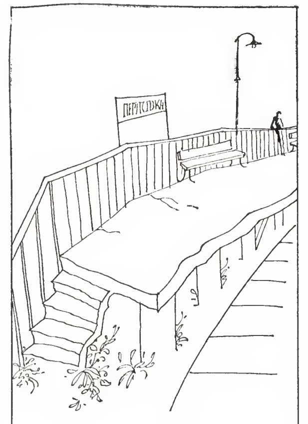
Был в этой песне еще один куплет — Мария мне его написала,— последний. Но девушки его никогда не пели.

Пойдем, сынок, пойдем, родной,
Тут нас не приймают!
Сине море глубоко,
Там нас ожидают...

Неподходящий мальчик

Название станции было веселое, похожее на название крупы. Москвичи так и называли ее — не Перловская, а Перловка. Здесь, в дачном Подмосковье, жила моя подруга. Мы познакомились в эвакуации, и там Аня часто рассказывала, какая у них прекрасная дача. Она закатывала глаза и мечтательно вздыхала, как бы кого-то изображая. И приглашала меня на дачу. Когда-нибудь! Когда закончится война. Когда я приеду в Москву. Когда будет лето. Когда...

Все это было так нереально в сорок втором и вдруг сбылось так скоро, спустя всего два года. Вот только война еще шла. Но исход ее уже был предрешен. Мой отец получил назначение под Москву. И



летним днем я спрыгнула с электрички на дощатую платформу Перловки.

Ночью прошел дождь, и теперь все благоухало, пели птицы. Они пели так, как поют только после дождя. Густая трава в пятнах солнечного света, запах сосны и шелест берез — все было празднично и непривычно для меня, как и самое слово «дача». Собственной дачи у нас никогда не было, и теперь в свои шестнадцать лет я впервые видела настоящий дачный поселок.

Я приехала сюрпризом. У меня был адрес и план, как пройти от станции. И я вышагивала вдоль длинных деревянных заборов, выкрашенных в зеленый или голубоватый цвет.

«У нас прекрасный участок»,— говорила Аня. Так я узнала, как называется это пространство — часть леса или луга, огороженная забором и принадлежащая одному владельцу. Там, где забор был пониже, виднелись дом или крыша дома, веранда с цветными стеклышками, бочка с водой под водостоком. Иногда собачья будка, иногда качели. Но опять все скрывал бесконечный скучный забор, над которым шелестели чужие деревья.

Вот наконец и улица, указанная в плане. И нужный мне номер над калиткой. И, конечно, забор. Зеленый, длинный, из досок, плотно пригнанных одна к другой. Я заметила возле калитки звонок и нажала кнопку. Нажала еще раз. Никто не отозвался. Тогда, толкнув калитку, я вошла. И пошла по дорожке, мощенной черепицей, к большому, безлюдному на вид дому. Я была разочарована. Неужели зря тащилась сюда? Мы не виделись два года! И я уже так представляла себе ее восторг при моем появлении, ее пискливый голос, сияние голубых близоруких глаз, пулеметную частоту речи!..

Дом был высокий, немного запущенный, со стеклянными верандами наверху и в первом этаже. На входной двери тоже был звонок. Я позвонила. Постучала. Негромко. Потом сильней. На мой стук вышла женщина. Худощавая, в очках.

— Нет, я не родственница,— сказала она низким, прокуренным голосом.— Я снимаю у них комнату и заодно караулю дачу... Они приезжают на выходной, а так всю неделю я одна. Как говорится, сама себе хозяйка. Анечка? Она ваша подруга? Вот оно что! Нет, Анечка приезжает редко. Она терпеть не может дачу... Может быть, вы зайдете?

Мне не хотелось в дом. Я присела на край крылечка. Эта часть его была под навесом и осталась после дождя сухой. Шелестели верхушки берез, поскрипывала старая, похожая на лиру сосна с раздвоенным стволом. К березам был привязан гамак. На круглой клумбе, заросшей травой, желтели одуванчики.

— Вам, как ее подруге, я могу сказать... У нее появился мальчик.— Женщина затянулась папиросой, закашлялась.— Родители просто в отчаянии. Совсем неподходящий мальчик...

— Почему неподходящий? — спросила я.— В каком смысле?

— Во всех смыслах, моя дорогая,— сказала она, держа папиросу в желтых от никотина пальцах.— Во всех смыслах!..

И вот я опять иду вдоль бесконечных заборов. На этот раз к станции. Чужие березы и сосны шумят на чужих участках. Слышны детские голоса. Я иду и завидую Ане. Конечно, не ее даче. Тут я ее вполне понимаю. Наверное, в детстве ей нравилось это отгороженное от мира пространство, где ей разрешалось гулять одной и делать все, что она хочет: качаться в гамаке, искать под березами грибы и рвать весной фиалки в сырости позади дома. В детстве это создавало ощущение свободы. Да еще после городской квартиры и школы, куда до пятого класса ее водила за руку домработница (надо было переходить трамвайную линию)...

Я завидую Ане, у которой «появился мальчик». И не просто мальчик, а н е п о д х о д я щ и й. Именно это определение почему-то больше всего убеждает меня в том, что Анька по-настоящему влюбилась.

Путь от дачи показался мне коротким, потому что я всю дорогу думала об этом. Я даже удивилась, увидев впереди платформу и название станции, обращенное ко мне изнанкой. Электричка только что ушла. И вдруг я почувствовала острый голод. Не потому ли, что запахло супом? Да, здесь, под соснами и березами, возле дачной платформы, самым сильным запахом был этот — пахло вермишелевым супом, и я не могла ошибиться: запах шел оттуда, от каменного здания с одинаковыми широкими окнами. Его окружал редкий штакетничек, в котором, как в старой расческе, кое-где недоставало зубцов. Во дворе, за домом, сушились простыни. Из окон второго этажа неслись нестройное детское пение и звуки рояля. Я догадалась, что здесь, в школьном здании, поселился на лето детский сад. Вермишелевым супом пахло из пристройки.

— Вы по объявлению? — спросила женщина в белом халате, с усиками на смуглом лице.— Хотите устроиться к нам ночной няней?

— Да,— сказала я. Мне очень хотелось супа.

Так я стала ночной няней в детском саду на станции Перловка. Это было последнее лето войны и

мое последнее школьное лето. Женщина с усиками — ее звали Нина Павловна — объяснила мне мои обязанности. Все складывалось самым лучшим образом. Ночью я буду дежурить, охраняя сон двух спальных палат средней группы — в каждой по тридцать кроватей. Зато день весь целиком принадлежит мне — гуляй и веселись. Мы обе как-то забыли о том, что людям положено еще и спать...

Кроме того, мне полагались зарплата и питание. На последнее обстоятельство Нина Павловна особенно нажимала. Многие в это голодное время были озабочены тем, чтобы поесть досыта.

Это был детский сад шелкоткацкой фабрики «Красная Роза». Я думала, что речь идет о цветке, но потом моя новая подруга Вика объяснила мне, что фабрика названа так в честь Розы Люксембург. Фабричные говорили нежно: «У нас на «Розочке»...»

Новая подруга Вика работала воспитательницей. Она была старше меня на три года, училась на вечернем факультете пединститута. Высокая, нескладная, с маленькими прыщиками на лбу. Дети Вику любили и считали очень красивой. Может быть, потому, что она была доброй.

Их укладывали рано. И они долго прыгали в своих кроватях, шалили. В каждой группе были свои зачинщики, озорники. Утихомирив одних, я шла в другую палату. Но стоило мне выйти за дверь, как шум возобновлялся. И тогда я придумала. Я стала рассказывать им сказку. Сообщив одной группе, что в некотором царстве жил-был царь и была у него красавица дочка, я обещала, что расскажу продолжение, если они будут лежать тихо-тихо. И они терпеливо лежали в своих кроватях с веревочными сетками, похожими на гамак в саду у Ани, а я шла в соседнюю группу. И рассказывала им то же самое, обещая продолжение. Так я и ходила от одних к другим, пока наконец они не засыпали. Впрочем, засыпали они довольно скоро. Утомительный долгий день, полный неожиданных и новых впечатлений, как любой день в детстве, склеивал ресницы, и они засыпали, не дождавшись окончания сказки. Не помню, удалось ли мне хоть раз досказать ее до конца. Они засыпали, и палата встречала меня тишиной. Так тихо спят только дети. Я ходила между кроватей с гамачными сетками, поправляла подушки, проверяла, хорошо ли укрыты. Опытные няни советовали: «Буди их в двенадцать ночи и в четыре утра, а то простынь не настираешься!» Но я их жалела и не будила в двенадцать — они так крепко спали. В голые, незашторенные квадраты школьных окон светила луна, трубили поздние электрички, тяжело грохотали товарные составы. Они проходили так близко, что земля сотрясалась и пол подрагивал. Но дети не просыпались. Я будила их в четвертом часу, по одному. Они были теплые, сонные и не очень понимали, чего я от них хочу. Иной начинал капризничать и звать маму. Иного приходилось вытаскивать из кровати и нести на руках. Некоторые засыпали, сидя на горшке. Это занятие называлось «высаживание», и длилось оно около часа. Ведь их было шестьдесят!..

И опять наступала тишина. Я не любила эти глухие ночи в молчаливом и от этого как будто пустом здании. Затемнения еще не сняли, и никакого света, кроме лунного, нам не полагалось.

Мои палаты помещались на первом этаже, и входная дверь почему-то не запиралась. Однажды ночью в темный коридор вбежала с улицы большая собака, похожая на волка... Мне самой было только шестнадцать, я боялась темноты и собак и очень хотела спать. Чтобы не заснуть, я вспоминала, фантазировала. Думала об Ане. Однажды в свободный вечер мы с Викой подошли к ее даче. На этот раз мне никто не открыл, и не у кого было спросить, как поживает Аня и ее неподходящий мальчик. Почему-то он не выходил у меня из головы. Я сочинила целую историю. Как они познакомились в электричке и полюбили друг друга с первого взгляда. И как они встречаются тайком от родителей. Как знать, может быть, на этой заброшенной даче...

Дети просыпались рано, словно птицы. Румяные, лукавые мордочки. Ясные, готовые к новым впечатлениям глаза. Долгий день в детстве, как путешествие. Начинался он с шалости.

— Подъем! — говорила я бодро, входя в палату, где все уже поднялись.

— Кто мокрый? Подымите руку!..

И сразу поднималось несколько рук. Это для того, чтобы потом, прыгая на сеточном матраце, радостно хохотать — ведь простыня сухая!..

К общему восторгу, я делала вид, что верю. В этом и заключалась игра. Тот, кто был мокрым на самом деле, руки не поднимал — лежал неестественно тихо, прижав руками одеяло, и, только когда я подходила к нему, шептал трагически: «Я мокрый...»

Таких я не выдавала. Незаметно собирала мокрые простыни — на две палаты было штук пять-шесть — и уносила. Стирать их входило в мои обязанности. Я стирала простыни в цинковом корыте на заднем дворе и распевала песню из своего детства «Как у Саши на постели груши-яблоки поспели». Так мы дразнили мальчика Сашу, когда его мама для просушки вывешивала на перилах балкона его матрац.

Я развешивала простыни и валилась на свою койку, чтобы заснуть. И тут кто-нибудь из дневных нянь говорил: «Подежурь за меня, мне надо съездить в Москву. Брат из госпиталя приехал...» (Или «Друг на фронт уезжает», или «Мать заболела, а дети одни!..»)

И тогда я дежурила за дневных. Мыла окна, приносила из кухни обед — ведра с вермишелевым супом и сырники с шоколадной подливкой. Кормили по группам, и моя средняя группа, завидев меня, отказывалась есть: требовала сказку...

Как-то после такого двойного дежурства я решила съездить к своим. Они жили в Загорске, по той же Северной дороге, что и Перловка. То ли электрички ходили реже, то ли время было такое — война! — но вагоны были набиты битком, несмотря на позднее утро. Я вошла в вагон и сразу заснула стоя. Не знаю, сколько я проспала, должно быть, станции три. Проснувшись — пожалуй, тут больше подходит слово «очнувшись», потому что мой сон был внезапным и глубоким, как обморок,— я увидела его. Он стоял рядом — мой неподходящий мальчик — и смотрел на меня. Он был точно такой, каким я его придумала: повыше меня, ворот защитной рубашки распахнут, и видна смуглая шея и острые ключицы. Зеленые глаза смотрели на меня внимательно, чуть насмешливо.

— Проснулась? — спросил он.— Небось, гуляла всю ночь?..

— Я не гуляла. У меня работа такая.

— Интересно, что за работа,— сказал он.— Если не секрет...

— Я ночная няня,— ответила я.

Это его рассмешило.

— «Няня»,— повторил он со вкусом.— К тебе это не подходит... Слово какое-то старушечье!..

Он смотрел на меня все так же внимательно и насмешливо. Я знала, что я ему нравлюсь. И он мне нравился тоже.

Вагон качнуло, и он придержал меня за локоть. Он стоял так близко от меня, что я чувствовала его дыхание на своем лице. От него пахло табаком, как

и полагалось неподходящему мальчику. На вид ему было лет семнадцать.

— И кого же ты нянчишь? — спросил он.

— Своих детей.

— И много их у тебя? «Детей»?

— Шестьдесят.

— Жми до сотни,— сказал он. И помолчав, спросил: — А меня понянчить не хочешь?

Я не ответила. Я знала, что мы сейчас расстанемся и больше не встретимся никогда.

— Между прочим, я тоже с ночной,— сказал он.— В военкомат вызывали — осенью должны взять...

К нашему разговору прислушивались те, кто стояли вокруг. Им было интересно.

— Сойдем? — предложил он вдруг.

Электричка приближалась к станции. Это была платформа Хотьково.

— Сойдем,— сказала я.

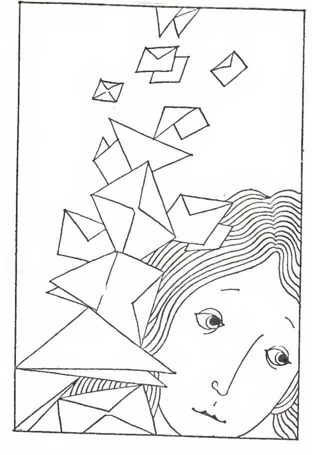
Мы протиснулись на площадку, и он спрыгнул еще на ходу.

— Ну, ты что? — сказал он.

Я покачала головой. Меня оттеснили в сторону.

Вернувшись в Перловку, я все рассказала Вике. И еще много раз я рассказывала об этом разным людям, в разные годы. О своем неподходящем мальчике и о том, как я не решилась спрыгнуть за ним на платформу.

Рассказала и Ане. Мы с ней увиделись, когда ей было уже за тридцать. И у нее был вполне подходящий муж.



переписка

— Разве такие письма пишут солдату?
— А какие письма пишут солдату?

Из разговора

Солдатские треугольники со штампом «Красноармейское», со строгой печатью «Просмотрено военной цензурой»...

У меня их сто восемнадцать. То, что писано карандашом, уже немного стерлось.

Его призвали в армию незадолго до окончания войны. Мы жили в одном городе, дружили с детства. Потом разъехались, потеряли друг друга из виду. И началась эта переписка. Ему в то время было уже девятнадцать с половиной, мне — двадцать лет. Я училась в институте и очень стеснялась, что он, которого я люблю, моложе меня на полгода. Девочкам, подругам по общежитию, я говорила, что мы ровесники. И в его письмах цифру «девятнадцать» переделывала на «двадцать».

Почтальона нашего звали Ася. Эта худенькая, смуглая женщина в черных чулках дважды в день появлялась в воротах нашего институтского садика, и не одно сердце трепетало при виде ее тяжело нагруженной клеенчатой сумки. Короткая фраза: «Вам нет!» — звучала, как приговор.

Писем ждали многие. Из восьми девушек, живших в нашей комнате, только у двоих любимые были тут же рядом. Остальные шестеро, и я в том числе, жили воспоминаниями, надеждами и перепиской.

Но, конечно, никто так не ждал писем, как я. Потому что только мне одной приходили письма из армии, эти солдатские треугольники полевой почты. С такими невообразимыми каракулями: в школе по русскому письменному у него была твердая тройка.

«Здравствуй!

Сегодня мне исполнилось девятнадцать лет. А я уже два года вдали от Родины, около польской границы. Твоя жизнь в Москве не может сравниться с моей. Ты пишешь, чтобы я приехал в Москву. Детка!.. Ты, наверно, забыла, что я нахожусь в армии и что по своему желанию мне разъезжать не приходится. Ни в этом, ни в будущем году мы не увидимся с тобой. А может, и вообще никогда не увижу тебя. Так что, если сможешь, забудь меня. Есть много хороших ребят, а тем более в таком большом городе, как Москва...»

Я перечитывала письмо, сидя на лекции. Перечитывала и дома, в общежитии, перед сном. Как он может писать так! «Забудь меня»... Как он может спокойно рассуждать о том, что, возможно, мы никогда не встретимся!..

Девчонки давно спали, а я садилась на подоконник и при свете луны или фонаря писала ответ. Что я писала ему? Сто восемнадцать моих ответов давно потерялись. Адрес его постоянно менялся, но он возил мои письма с собой...

«Сегодня уезжаем из Лентвариса. Едем в Тильзит, теперь он называется Советск. По приезде напишу. Весь мой багаж состоит из одного чемоданчика. В нем нет ничего хорошего. Половина — твои письма, конспект по автодрезине и сигнализации да тетрадь с разными песнями, которые я успел понаписать здесь от нечего делать».

Чемоданчик этот, где не было «ничего хорошего», потерялся, и теперь только из его писем можно узнать, что было в моих.

«г. Брест.

Здравствуй! Твое первое письмо на Брест я получил давно. Я могу представить, как ты живешь, но как выглядишь, представить очень трудно. Ведь

мы не виделись два года. Обязательно пришли твою фотокарточку. Ты пишешь, что очень похорошела. Любопытно посмотреть. Ты пишешь, что у тебя много друзей. Три девочки и два мальчика. Ну, девочки меня мало интересуют. А вот мальчики! Опиши мне их подробней. Что они собой представляют и не увлечена ли ты ими?.. У нас идет дождь. В палатке нет огня, и эти строчки я пишу в темноте и уже не смогу их прочесть»...

Странно перечитывать написанное в юности. Странно и немного стыдно. Зачем я писала ему про мальчиков и что «очень похорошела»? Зачем я писала, как на встрече Нового года танцевала весь вечер под духовой оркестр, и как меня приглашали наперебой, и как один парень, мой однокурсник, признался мне в любви?!.

Я не обманывала — все это было действительно. И танцы, и прогулки по ночной Москве, и признание. Но ему я писала об этом, потому что мне очень хотелось, чтобы он любил меня! Чтобы он завидовал тем, с кем брожу по Москве и танцую на вечерах. Мне казалось, что и он там живет весело: в одном из писем упоминался клуб, куда он ходил по увольнительной и где было много польских девушек. Не влюбился ли он в одну из них? И не потому ли пишет: «Забудь меня, есть мчого хороших ребят...»?

«Ты спрашиваешь, ношу ли я сапоги или обмотки? Почему тебя это интересует? За время службы сносил четыре пары сапог, сейчас добиваю пятую. Ходил и в обмотках. Я их не люблю — с ними много возни».

Мне обмотки не нравились. Воображение создавало образ героя. Герой нашей юности, пришедшей на войну, был солдат. Сапоги более, нежели обмотки, льстили воображению. На моей тумбочке стояла фотография мальчика в матроске. Потом появилась новая — он прислал мне ее в одном из писем. Стриженый парень в пилотке со звездочкой, в гимнастерке с неровно заправленным пластмассовым подворотничком. Мальчик в матроске едва угадывался во взгляде, в рисунке подбородка и губ, оттененных первым пушком.

— Неужели это тот самый малый? — спросил мой однокурсник, взяв с тумбочки фотографию.— Размордел же он в армии!

Я обиделась, отняла фотографию, водворила на место. Потом, оставшись одна, долго, придирчиво рассматривала. Старалась как бы посторонними глазами увидеть то, что мог найти в этом снимке, сделанном наспех кустарем-фотографом, лишь мой, не посторонний взгляд.

Я никому не верила — ни однокурснику, ни кустарю-фотографу из литовского городка. Фотографию с тумбочки я убрала, и на ней опять воцарился мальчик в матроске с задумчивым, чуть печальным лицом. Я охраняла своего героя от бесцеремонного прикосновения.

Маленький город с дощатыми тротуарами, бревенчатый двухэтажный дом с косым крылечком, долгие светлые вечера в июне. И его велосипед, на котором он катал меня к реке, и река — широкая и светлая, как небо.

Он писал мне из Бреста, Берестовицы, Лентвариса, Тильзита, Кенигсберга. Перечитывая его письма, я представляла себе эти разбитые войной города, развалины под луной. И военный лагерь, палатку, где нет огня, и то, как он пишет мне, прислушиваясь к дождю.

Был июнь, и ночи в Москве стояли долгие, светлые. На светлом строго чернели старые липы. Потом просыпались птицы. Раздавались их первые, нерешительные голоса. И вскоре щебет охватывал деревья, как озноб. Всходило солнце...

Иногда мне случалось проснуться на исходе ночи. Я вставала тихонько, чтобы не разбудить девчонок. Подходила к окну. Я слушала птиц, смотрела на строгие деревья, видела, как рассвет зажигает на них капли ночной росы.

Я думала о нем. О том, что когда-нибудь мы встретимся. Пусть не в этом и не в будущем году — он писал «в будущем»... Пусть!

Об этих рассветах я никогда не писала ему. Разве об этом пишут? Это каждый переживает сам, как переживает юность, и любовь в юности, и разлуку...

Счастливая, я засыпала, и длинные птичьи трели проносились сквозь мой сон, как тройки с бубенцами.

Однажды я послала ему письмо. Не знаю, каким оно было по счету — пересчитала я их много лет спустя. Я опустила его в почтовый ящик и стала ждать ответа. Вскоре ответ пришел. Никогда еще он не писал так много. Он и в жизни был немногословен. Мелкие строчки теснили одна другую, словно старались наперебой высказать что-то, доказать, объяснить.

«Видно, ты мало знаешь меня. Ну, что ж, постараюсь исправить ошибку. Постараюсь, чтобы ты лучше узнала меня! Может быть, тогда не будешь писать так безнадежно...»

На другой день пришло еще одно письмо, а за ним еще одно:

«...и когда я писал тебе, что моя жизнь скучна, ты решила, что и я сам стал скучным. Но теперь я постараюсь исправить свою ошибку. И ты поймешь, что я остался таким же веселым, каким был когда-то. И тогда ты не будешь так безнадежно писать...»

И четвертое письмо все о том же:

«...решила, что при встрече нам не о чем будет говорить. Но я уверен, что мы всегда найдем, о чем поговорить. Как тогда, на нашем крыльце. Не думаю, что ты так изменилась с тех пор, хотя и стала студенткой.

Я тоже не очень изменился. Да, я во многом еще мальчишка. Но все это ерунда! Я думаю, мы всегда поймем друг друга. И тебе не придется так безнадежно...»

А потом я получила письмо из его части. Оно пришло вслед за четвертым и было написано незнакомым почерком. Знакомым был лишь номер полевой почты.

«...и никогда больше не пишите таких писем! Я, конечно, их не читал, но человек ходит сам не свой. И это все делаете вы своими письмами.

Так что прекратите, иначе я ваши письма не буду ему выдавать.

С уважением,

командир отделения мл. сержант...»

Что было в этом письме? Я старалась вспомнить и не могла.

Оно ничем не отличалось от тех, которые я посылала раньше.

Мне казалось, что письмо было хорошее. И что все мои письма к нему были хорошие.

Просто тогда я еще не знала, какие письма пишут солдату.

●


СТИХИ

Григол Абашидзе



Перевел
с грузинского
Ю. РЯШЕНЦЕВ.

В тундре

Как ящерица, холм
лежит в скулом телле,
И будто тень от туч —
кустарник неприметный.
Подобно мыши,
мох крадется по скале,
Бессильный, словно лух,
безмолвный и бесцветный.

Холодный тесный чум. И солнцем в нем
свеча,
Привычная, видать, для узких глаз саами.
Я гость из мест иных, где лочва горяча,
И Грузия моя за дальними горами.

Печальный луст лейзаж.
И солнце вдруг ушло,
Всю тундру оглядев глазами незнакомца.
В травинке, чуть живой, кончается телло —
Вот-вот конец траве, траве, лишенной
солнца...

Уже окрестный вид захоподел, лродрог,
Уже и жизни нет
в морозной этой пени—
Откуда ни возьмись,
как ливень, как поток,
Вдруг в пасмурный лейзаж
влетел табун олений!

Уж это, бедный край,
не гордость ли твоя,
Твоей надежды лпоть,
могуча и едина!
И вдруг исчез покой
на грани бытия —
Вот так у нас в горах
идет, гудя, павина.

И тысячи рогов
лрорвапи небеса,
Сугробы над землей
фонтанами взметнулись
И вдруг залела жизнь
на все на голоса,
И бедная трава
и слабый мох встряхнулись.

И лица расцвели
у искренних саами:
Для них святыней был
их невеселый край,
И я вдруг посмотрел
на тундру их глазами:
Она быпа скудна,
а я увидел — рай!

Нам родина — Эдем!
Я в этом убедился
В смешавшем день и ночь
безрадостном краю.
И впрямь: рожденный жить —
лусть хоть в гробу родился,—
А за него готов
отдать и жизнь свою!

✪

Жизнь — постоянное сраженье тьмы
и света.
Когда был мрак, то мне светила ты одна.
Что мне завистник не простит!
Одно лишь это:
Одно лишь то, что ты лрекрасна
и верна.

Чужая зависть, право слово, злее волка.
Вот не хватало мне ее!..
Но как ни зла,
Она вкруг доблести твоей кружила долго,
Да ни малейшего изъяна не нашла.

Во что ты верила, ты веришь и доныне,
Что было лрежде свято, свято и телерь,
Горда, как раньше, высота твоей твердыни!
И я по-прежнему люблю тебя,
Поверь!

И без тебя
ни дня,
ни ночи мне не надо,
И вне тебя
ни дум, ни чувств не лризнаю.
Твоя любовь —
моя надежная ограда.
Любовь к тебе —
венец на голову мою.

Тебя лредавший
самой строгой стоит казни.
Достоин жалости
восставший на тебя.
И злость и зависть
я встречаю без боязни.
Вот разве смерть!..
Но умираешь ли, любя!..

✪

Что живо и что ново под луной —
Находится в движенье,
в напряженье.
Уж так устроен этот мир земной,
Что с созиданьем рядом — разрушенье.
Но даже лыль, стелная лыль, и та
Не зря неслась, вода не зря шумела.
Во всем живом своя есть красота,
Она есть чудо! Чуду нет лредела!
И дивных див вокруг лолным-лолно.
И лрошлое бессильно лред грядущим...
И этой сказке, этим дням цветущим
Конца не суждено.

Слетел вниз, отпер пекарню, включил рубильник, чтоб печь разогрелась. Потом открыл кран рукомойника и подставил голову под холодную струю. Сначала он даже не столько мылся, сколько пил, но напиться все равно невозможно, и поэтому принялся умываться, то и дело хватая воду ртом.

И тогда появился Бобров. Он не вошел, а ввалился — дверь оставил открытой, сел, шумно хватая воздух, не вытирая пот с лица.

И Костя подумал, как тяжело ему с непривычки. Самому тяжело, а Боброву — просто через силу тяжело. Но тут главное не разнюниться, и Костя сказал строго:

— Умывайся. Будешь формы смазывать.

Володя жалобно, беспомощно посмотрел, привалился к переборке — глаза слипаются, голова падает на грудь. Все ж он переборол себя, выпрямился ненадолго и снова осел.

— Умойся хоть. Полегчает,— сказал Костя, набрал пригоршню воды и плеснул ему в лицо.

Тот мутно глянул исподлобья, поднялся с каким-то стариковским кряхтеньем и присосался к крану. Было слышно, как вода с бульканьем льется по горлу в желудок.

— А ну, кончай пить! Умывайся!

Тот не слышал — пил и пил. Пришлось насильно оторвать от крана, умыть, усадить.

Некогда с ним возиться. Костя приготовил формы для первого яруса печки, открыл тесто и принялся раскладывать. Тесто недовольно уже попыхивало — обижалось, что перестаивает.

Отдышавшийся Бобров смог наконец шевелить руками и, перебарывая сон, стал смазывать остальные формы. Хоть в этом польза. Костя вполне его понимал и ничего больше не требовал. Сам работал на каком-то третьем дыхании, подгоняемый тестом, которое не может больше терпеть.

Формы наполнялись медленней, чем хотелось. Теста не убавлялось, оно словно вырастало на месте взятого, и Костя с тихим отчаянием смотрел на дежу и все накладывал, накладывал, ставил, ставил...

Потом был какой-то провал памяти, время как бы остановилось. Когда Костя опомнился, не поверил — заполнялась последняя форма...

Володя храпел, вдвое сложившись на банке, уронив руку. Вот ведь не заметил, как он уснул.

И корабль начало покачивать — догнала «Элен», задела хвостом, но теперь хлебу она не страшна.

Костя открыл печь и кожей лица определил, что жар, какой надо, и вообще все идет к хорошему припеку и доброму хлебу.

Он взял первую форму и привычным броском вдвинул в печь...

Володю растолкал с трудом, сонного (голова на плече) отвел в кубрик, уложил, как маленького. Что за детский сад эти первогодки!

Самого, правда, все сильней клонило в сон. Возбуждение прошло, и одолевала усталость, но спать пока нельзя, можно лишь покемарить у печи. Костя прикрыл дверь, посмотрел на термометр и прилег. На банке помещались туловище и голова — ноги свешивались. Это хорошо: не слишком разоспишься. Да Костя и не боялся проспать, он знал: пока хлеб не готов, по-настоящему не уснет.

Кроме того, он любил эту банку, она очень походила на скамейку, стоявшую в кухне у матери. Одного взгляда на нее хватало, чтоб вспомнить дом, и большую кастрюлю, в которой мать месила тесто, и самое мать... Вот она подходит и накрывает его стареньким, вытертым одеялом... Она не знает, что он еще не спит, и он потихоньку наблюдает за матерью, и так ему хорошо, тепло от ее заботы...

Ох, даже сон увидел! Поднялся, посмотрел на часы, на термометр и опять лег, и время потянулось бесконечно. Иногда, открыв глаза, он со страхом оглядывал стрелки — думалось: проспал много часов, а оказывалось — пять минут...

Так и докемарил до поры. Выключил печь, умылся, надел свежий колпак и куртку. С трепетом открыл дверцу (кто знает причуды хлеба и печки — вместе они могут натворить невесть чего,— так он думал на всякий случай, хотя крепкий, медовый дух нового хлеба уже трубил об удаче).

Вынул форму, вторую, третью... Лицо охватил пряный хлебный жар. Буханки поблескивали ровными шоколадными корочками. Пекарню распирало праздничным ароматом, и Костя знал, что сейчас даже через закрытую дверь хлебный мед просочился в коридор и течет по кораблю сладкой рекой, и ребятам в кубрике снится горячий хлеб, и командир, который всегда нес ночную вахту, втянул воздух и ждет пробы.

Теперь самый торжественный, завершающий миг. Костя достает нож, кладет обжигающую руки буханку, разрезает вдоль и разваливает на ломти. Кусок из середины он вынимает и пробует: долго жует маленький комочек, валяя во рту так и сяк, и хочет придраться к чему-нибудь, и не может. И радостная уверенность наполняет его.

Затем он съедает весь кусок и начинает понимать, что страшно голоден — мог бы умять всю буханку. Да если б еще кружку компота... Но это потом.

Сейчас он достает плоскую тарелку, протирает, кладет в нее пробную половинку буханки, накрывает салфеткой, поправляет перед зеркальцем колпак, одной рукой одергивает куртку и выходит, неся тарелку перед собой. Он идет по пустому коридору так, словно коридор составлен из выстроившейся команды корабля.

По крутому трапу поднимается в ходовую рубку, докладывает командиру по форме, как положено. Командир строго его выслушивает, берет кусок хлеба, разламывает, жует и, не выдержав, улыбается.

— Молодец, Чувардин!

На этом кончается официальная часть. Командир угощает свежим хлебом вахтенного рулевого, радиометриста и самого Костю. Они едят и смотрят, как вырисовываются на кромке зари вулканы Курил, как из штормового моря восходит солнце и мир наполняется светом и живительным духом хлеба.



Надежда **КОЖЕВНИКОВА**

ДОМОЙ

РАССКАЗ

Рисунок А. ТОКАРЕВА.



...Светка сказала, что ей в конце концов уже семнадцать и хватит в самом деле с ней нянчиться: все ребята с их курсов едут, почему ей нельзя? Да, обещает писать, подробно, не меньше двух-трех страниц. И заплывать далеко не станет, честное слово. Глаза у Светки были такие несчастные, что Павел не выдержал, пробурчал: «Ладно, там посмотрим»...

А Светка решила: уж все — он согласен, кинулась на радостях целовать. Отступать было некуда. И действительно, семнадцать лет. Семнадцать! Как быстро время-то пролетело...

— Что ж, значит, только две путевки брать? Вдвоем поедем? — Павел нерешительно поглядел на жену.

— Значит, вдвоем.— Марина вздохнула.— Все равно, не будет мне покоя. И отдыха никакого не будет.

Светка уехала в Карелию в конце июля, а Павел с Мариной промаялись еще с неделю в Москве: от жары асфальт плавился, что уж тут о людях говорить... Еле дождались дня отъезда.

Поезд их отправлялся в половине седьмого утра. В этот ранний час, будто берег при отливе, обнажился вдруг каркас города: улицы, тротуары пусты, безлюдны и четки, как на старинных гравюрах.

Такси примчало их к вокзалу за десять минут.

До самого отхода поезда Павел стоял в проходе у окна, глядел на перрон, на людей, провожающих и отъезжающих. Носильщики, чемоданы, тюки, проводники в темной форме, запах вокзала, который не спутаешь ни с чем... И вдруг, как это не раз бывает в толпе, он почувствовал себя печальным и одиноким. Вернулся в купе. Марина уже выложила из сумки традиционного цыпленка, помидоры, яйца.

— Опять соль забыла,— сказала она виновато.

— Знаешь, я посчитал, сколько мы уже вдвоем не отдыхали. Первый раз Светку на море свезли, когда ей три было. Четырнадцать лет, выходит, прошло.

— Да, совсем уж взрослая... Но как подумаю, что она там одна...

— Не одна ведь. Человек двадцать их собралось.

— Вот и плохо. Все они друг перед другом равны, а значит, никто и не в ответе. Если что случится... Может, у проводника соль спросить?

— Ну, перестань. Если мы так будем переживать, к концу месяца совсем в психов превратимся. И действительно, взрослый ведь человек, нельзя ее держать пришпиленной к юбке.

— Хорошо, не будем.— Марина присела рядом с мужем.— Письма обещала писать, так ведь долго, наверное, они идут — а, не знаешь?.. Помидор бери. Или порезать?

...Комнату в доме отдыха им дали хорошую, просторную, с видом на море. Прозрачные занавески выдувались из окон прибрежным ветерком и плавно опадали — казалось, все подчинено ритму волн. И дышать хотелось так же — мерно, ровно...

Они просыпались поздно, радуясь, что не надо никуда спешить. Давно не приходилось жить так, наверное, со дня появления Светки. Они уж и забыли, что можно просто смотреть на море, не выискивая среди купающихся дочь, не тревожась, как бы не заплыла она дальше буя. И завтракать можно спокойно, не терзаясь, что Светка опять кашу свою не доела,— такая тощая, жалко смотреть!

Они так долго ждали: наступит отпуск, море, покой. И будет счастье.

Море было. И лунный свет. И музыка вечерами из ресторанов. Но все казалось: нет, что-то не сбылось. То ли опоздали, то ли чересчур затянули праздник. А может, они просто разучились быть вдвоем? Может, из-за этого и не чувствовали ни от чего радости?

Ложились спать рано, в десять часов: а что делать, не ходить же на танцплощадку? После ужина прогуливались по набережной, смотрели на море в синих лучах прожекторов. Молчали, облокотившись на парапет. Море, как собака, шершавым языком лизало берег. Никто никуда не спешил. Горы, рельефно просматривающиеся вдали, казались сделанными из мягкой резины: надавишь — послышится писк. Все рядом — руку протяни, щедрое, пышное и все как бы ненастоящее — сейчас исчезнет, словно мираж.

Да, долго в таком безделье существовать было невозможно.

Чего они ждали — отъезда?..

Марина каждый день бегала на почту справиться, нет ли писем,— Светка прислала одну открытку. Марина огорчалась до слез, но с мужем, сама не зная почему, печалью своей не делилась.

Все больше отдалялись они друг от друга.

Если бы такое случилось в Москве, можно было бы еще найти опору в работе, забыться в привычной городской суете. А здесь, как на острове, никуда не сбежишь, не спрячешься.

В первую половину дня еще ничего: уплывешь в море, потом загораешь. Молчание оправдывалось: кому охота разговаривать на жаре? Марина глядела на мужа, выходящего из воды, и радовалась, что темные очки скрывают взгляд: не угадать, куда именно она смотрит. Павел подходил, ложился рядом, раскрывал журнал, но не читал, а лишь перелистывал страницы... Их тревожило молчание, паузы, часто возникающие в разговорах,— они смущались, будто познакомились только вчера и обоим еще предстояло выяснить, что за человек перед тобою. Но каждый боялся сделать другому больно: не соперник же — родной человек...

Сколько они прожили вместе? Да уж лет двадцать. Какие неожиданности могли их ждать? Казалось, вот вырастет дочь — можно будет и отдохнуть, пожить спокойно. Спокойно? Не получалось...

Светка, ради которой приходилось все время жертвовать развлечениями, праздниками, друзьями, лишила их, оказывается, не только свободы, права распоряжаться собой, но и чего-то большего, что ушло незаметно, а теперь никак не восстанавливалось.

После обеда, только войдя в комнату, Марина хватала «авоськи».

— Ты куда? — спрашивал Павел.

— На базар. Фрукты куплю, персики.

Уходила. И Павел знал, что тащится она по жаре, только чтобы не оставаться с ним, не слышать, как в полной тишине тикает будильник. А на подоконнике в глубокой тарелке лежали персики, купленные вчера,— ни Павел, ни Марина их не ели.

Как-то глупо, мучительно все получалось. Оба искали, куда бы друг от друга сбежать, скрыть свое смущение, беспомощность.

Павел придумал уходить по утрам в бухты.

— Кажется, пополнел я,— сказал он как-то, глядя на себя в зеркало.— В моем возрасте малоподвижная жизнь опасна.— Сказал и почувствовал себя неловко. Его возраст! А возраст жены? Да, постарела, он как-то не замечал раньше...

Территория дома отдыха была зеленой, тенистой, а к бухтам приходилось идти по голой песчаной косе; утром еще ничего, а днем так шпарило! Но вода в бухтах была чудесная, даже без маски просматривалась до дна: лохматые, ржавого цвета водоросли, серебристые стайки мальков, недвижно-ленивые, будто прихваченные морозцем, радужно-остекленевшие медузы. Скалы нависали низко-низко, готовые рухнуть вот-вот, завалить узкую полоску берега; далеко в море зашвырнуть гигантские валуны, похожие на ископаемых животных. Такое, наверное, случалось здесь не раз: замшелые, серебристо-зеленые камни торчали в воде, с них хорошо было нырять, только осторожно, чтобы не пораниться об острые ракушки...

Возвращался Павел к обеду, а после спал: три часа ходьбы по жаре сильно изматывали. И, засыпая, думал: хорошо, он при деле — спит. Правда спит, не притворяется...

— ...Павел, слышишь? Слышишь, что я тебе говорю? Да проснись, наконец, в самом деле!

Павел открыл глаза, увидел сердитое Маринино лицо, и голос у нее был властный, требовательный. Удивился — в последнее время она бывала с ним скорее робка.

— Слышишь? Света приезжает. Вот телеграмма, держи.

«Встречайте семнадцатого поезд четвертый вагон двенадцатый целую Света».

— Но почему? — Павел с недоумением вертел телеграмму.

— Почему! Значит, что-то случилось. Я же говорила, просто так этот месяц не пройдет. Вот результат!

— Погоди. Ничего ведь не ясно. Может, просто надоело ей там, соскучилась.

— Ну да! Так рвалась, и вдруг...

— Мало ли... До завтрашнего дня потерпим. А после сама объяснит.

...Но Светка ничего объяснять не стала. Вышла из вагона в своих голубых выгоревших брючках — спортивная сумка в руке. Павел впервые заметил, что она выше Марины, а может, кажется, потому что тоньше, стройней.

— Ну, и загар у вас! — заулыбалась Светка.— А у нас шли дожди. Насквозь вымокли. Дрянь погодка...

В машине Светка высовывалась из окна, ветер трепал ее светлые волосы, и всем она восхищалась — погодой, солнцем, морем, виднеющимся вдали.

— Соскучилась! — сказала, прижавшись к матери.

— И мы.— Павел с женой откликнулись почти хором.

Решили, что Светка будет спать на балконе, питаться в столовой дома отдыха,— Марина пошла договариваться в дирекцию. А Светка, разбросав по комнате свои вещички, торопила: «Ну, пап, ну скорей. Так купнуться хочется».

Они пошли не на общий пляж, а в бухту. По узкой тропинке идти приходилось гуськом, и Павел видел перед собой худые мальчишечьи ноги дочери, при каждом шаге будто подламывающиеся в коленях, и белую сутулую ее спину. Шел и думал: почему приехала? Думал с тревогой и все же радовался — здесь она, рядом...

В бухте Светка скинула кеды, носки, закатанные валиками, помчалась к воде: «Холодная!» Завязала на макушке хвост и с разбегу с головой нырнула. Павел остался на берегу, смотрел, как она там плещется и волосы, распутавшись, стекают по ее лицу, потемневшие, ну, точно водоросли.

Берег в бухте был высокий, скошенный. Светка, накупавшись, улеглась так, что перед глазами Павла торчали ее узкие, розовые пятки. Лежала, спрятав в ладонях лицо, позвала:



— Пап..— Голос ее прозвучал, будто издалека, глухо.— Пап, почему по-дурацки так все получается?

— Что?

Светка, приподнявшись, легла рядом, и Павел увидел ее лицо: белесые, сведенные к переносью брови, веки, как у спящей, выпукло прикрывающие глаза, и бледные губы негритянки.

— Папа, я поняла, я не могу жить без вас.— Она вздохнула. Положила на вытянутые руки голову.— Наверное, в этом все дело, я только вас и люблю и не могу, ну, совершенно не могу быть с ребятами. Понимаешь, они все... ну, грубые, что ли...— Помолчала, сбоку взглянула на отца.— Они человека, вот меня, например, видят, воспринимают только такой, какая я сейчас у них перед глазами. На остальное им наплевать. А как же можно другого понять, если не знать, что с ним раньше-то было. А им это неинтересно, понимаешь, неинтересно...— Помолчала.— И еще, вот я думаю, неужели в отношениях людей главное — внешность? Неужели, если не заинтересуешь лицом, так уж ум твой, душа никому и не понадобятся? Пап, скажи...— Светка привстала, посмотрела Павлу прямо в глаза.— Скажи честно, я некрасивая?

Она ждала. А Павел тянул, не знал, что ответить.

— Хорошенькая,— пробормотал он наконец и перевернулся на спину, чтобы не видеть напряженно-внимательного Светкиного лица, ее глаз, светлых, широко расставленных, чуть сплющенного веснушчатого носа. Что мог он ей ответить? Да и есть ли ответ? Ведь Светку волновало сейчас отношение к ней не всех сверстников, а кого-то определенного, избранного и оставшегося, по-видимому, равнодушным. Ей хотелось понять — почему?

Почему! Ответь, попробуй...

Светка неловко повернулась на бок.

— Папа, отчего возникает любовь? Ты должен знать, ты ведь любишь маму?

— Ну, это сложно...— Павел почувствовал себя припертым к стене: «Господи, ну, почему это она мне? Почему не дождалась прихода матери? Марине легче было бы с ней говорить, откровенно, по-женски...»

— Сложно?

— Знаешь,— Павел посмотрел на дочь,— мама у нас необыкновенный человек. Я в нее действительно с первого взгляда влюбился. Но любовь, настоящая любовь, приходит потом. И никто не может предвидеть, насколько способен он ее чувствовать. Мне вот казалось — я очень люблю твою мать, больше уже просто не в силах. А получалось: нет, и больше можно и сложней. Настолько сложней, что иной раз даже не знаешь, любовь ли это. Но это любовь, только уже прошедшая долгий путь... Чувство твое постепенно растет, ширится, и вот, когда оно уже, как ком, на горло, на сердце давит, и все, каждое движение, взгляд отзываются в тебе и радостью и болью,— это любовь. А потом она, кажется, чуть спадает, но не оттого, что уходит, нет. Просто она уже в тебе, как кровь, как кислород,— ты ею дышишь, не замечая...

Павел слушал себя и чувствовал: ах, не то, не те слова говорит. Светка дотронулась до его локтя.

— Понимаю, такое словами не скажешь... Но если бы я не знала, как вы с мамой друг друга любите, я бы вообще подумала — нет ее, этой самой любви. И больше того, можно спокойно без нее существовать, безбедно, безболезненно, нету,— и все. Никому не обидно. Но только рядом вы, родители, живете, и у вас — мы, молодые, знаем — было это, любовь. А нам не везет, что ли? Почему мы ее не встречаем? Что так в мире переменилось? Или переменились мы сами? Нечего ждать, она не придет, не будет ее больше, любви. Папа, ответь!.. Исчезнут люди, любившие когда-то, исчезнет само чувство, память о нем. А как его вернуть? Вернуть — что? Не определишь словами. Ты вот, папа, не можешь определить... А скажи, когда ты был молодой, бывало с тобой такое, что, встретив случайного человека, ты готов был куда угодно за ним пойти? Да, бывало? А у нас, у нашего поколения,— Светка скривила губы,— у нас ведь очень всего много. Хорошеньких девочек и мальчиков, и праздничков, и веселья. Зачем нам кого-то специально искать? И так встретишь, с меньшими хлопотами. Обязательно встретишь: хорошеньких мальчиков, девочек, умненьких, интеллигентных, понятия не имеющих о любви. Какой-нибудь такой мальчик может и пойти за тобой следом. Но если ты свернешь вдруг в переулок, он, будь спокоен, не изменит свой путь. Потому что и по удобному ему маршруту он встретит еще сотню девочек, похожих на тебя. И каждая будет с тобой на равных, так как ничего, кроме этого сходства, ему, такому мальчику, не нужно знать... Папа, знаешь, я, наверное, оттого к людям такая, что всех по вас меряю. Поэтому, понимаешь, мне трудно... Когда дети в семье любви не видят, они и сами не понимают, что значит любить. Как слепые, цвета, красок не различают. А может, такое по наследству передается, как волосы, нос, глаза? Вот видишь,— Светка вытянула руку,— у меня пальцы такой же формы, как у тебя. Я еще в детстве заметила.— Она приложила свою ладонь к ладони Павла. Улыбнулась.— Точно совпадают, видишь? И я тоже полюблю когда-нибудь? И меня кто-нибудь полюбит... Раз вы меня с мамой родили, я должна быть счастливая, правда?

— Да,— сказал Павел.— Ты и сейчас счастливая, сама даже не понимаешь. А будешь еще счастливее, честное слово.

— Пап, мне так нравится с тобой говорить... Знаешь, когда я сегодня с поезда сошла, вас увидела, мне даже завидно стало. Вы стояли, и лица у вас были похожи, ну, точно у брата с сестрой. Меня искали и совсем одинаково, то в одну сторону, то в другую смотрели, будто ниточка какая-то между вами была. Потом разом, одновременно мне улыбнулись... Пап, я хочу, чтоб у меня тоже так было. Хочу, чтоб человек со мной рядом был надежный, как вот ты и мама, и чтобы любили мы друг друга тоже так...

— Так и будет.— Павел поднялся.— Еще раз искупаешься? А то пора, мама забеспокоится.

— Ну, пойдем.— Светка встала, стряхнула с коленей песок.

Сухой треск кустарника, запах — терпкий, горьковатый — полыни, море потемнело как бы изнутри — солнце скрылось, похолодало...

Павел шел по узкой тропинке впереди: ему хотелось обернуться, спросить дочь, почему все же она приехала, что у нее там произошло. Ему хотелось знать определенно, хотелось подробностей, но он не стал расспрашивать, раз не сказала сама. Наверно, узнает обо всем Марина. А он узнал то, что предназначалось ему. Дети сами выбирают, кому из родителей открывать свои тайны...

Павел непроизвольно все ускорял и ускорял шаги, Светка еле за ним поспевала. Он спешил — к Марине, домой...



Игорь ОБРОСОВ

ЧУВСТВО РОДИНЫ

Художник Попков являл собой человека стремительного, вдохновенного, он не всходил на вершину, как другие, он низвергался вниз. Его увлекала глубина жизненных явлений, постоянные поиски новых духовных ценностей. Его стремительное движение вниз не было обвалом, уничтожающим на своем пути все живое, слабое. Он увлекал за собой все, что живо, неравнодушно, дерзновенно и направлено к постижению тайн природы и человеческой души.

Он был человеком сильной мысли, воли. И скорбь охватывает нас, когда уходит из жизни такой человек. Осенью 41-го года отец Виктора Попкова, уходя на фронт, сказал своей жене Степаниде Ивановне последние слова: «Ежели что, Стеша, помни мой наказ. Замуж не выходи, четверо у тебя их. Хорошего человека с четырьмя не найдешь, а с плохим намаешься. Выучи детей, если сможешь».

Родился Виктор Попков в Москве в Гавриковом переулке, куда семья переехала в 30-е годы из деревни. Еще ребенком он удивлялся, беря в руки сводные картинки: вроде бы берешь бумажку, мочишь ее в воде, прикладываешь к бумаге и аккуратно пальчиком мусолишь. И рождается цветная картинка. Виктор спрашивал удивленно: «Мам, кто ж так смог живо нарисовать картинку?» Мать Виктора, простая русская крестьянка, видела в детском интересе мальчика страсть к рисованию. С войной пришло горе. С фронта пришел отцовский вещмешок и шинель, присланная товарищами мужа вместе с похоронкой. Долго Степанида Ивановна разглядывала с детьми мужнины вещи, потом открыла шифоньер и повесила шинель мужа — все, что от него осталось. Помня наказ мужа, замуж она так и не вышла, всю себя отдала детям. В голодные военные дни она иногда доставала эту шинель, раздумывая, не выменять ли ее на картошку или какую другую еду. Да так и не решилась, будто кто нашептывал ей: «Помни, помни».

С тех пор прошло много времени, дети стали взрослыми, Виктор Попков стал известным художником, много ездил по стране, задумываясь о времени, о Родине, о друзьях.

И вот однажды он достал отцову шинель, пытаясь представить в ней отца. «Отец погиб, когда ему было тридцать семь,— говорил Виктор,— а мне сейчас сорок. Достойно ли наше поколение подвига отцов в те трудные годы?» С этим вопросом художник обращался к своим ровесникам, к своим современникам. Тревожен и напряжен взгляд художника, обращенный к зрителю. В нем словно звучит немой вопрос: «По плечу ли молодому поколению солдатская шинель отцов?» Художник глядит с полотна и требует ответа. Он взывает к совести, к самым глубоким патриотическим чувствам. Виктор Попков утверждал, что художник как никто другой ответствен за духовный мир своего народа, своего поколения, своих друзей и близких. Он всю жизнь пытался раскрыть духовные, нравственные ценности нашего народа.

В живописи Виктора Попкова мощно прозвучала песня о русских женщинах. После одной из поездок на Север, в мезенскую деревню, образы русских женщин захватили художника. Он говорил, что от Мезени ему теперь не уйти. Одержимость художника, сознание своего долга перед встреченными на русском Севере людьми снова и снова побуждают его ехать туда. «Когда я столкнулся с судьбой этих женщин,— писал Попков,— я увидел, что это настоящие люди; и хотя на долю их выпали тяжелые испытания, они не сломлены жизнью, а живут и трудно и радостно, в работе и отдыхе, в больших и малых заботах... Это — жизнеутверждение, хотя и трагическое по своему внешнему проявлению». Значительным финалом жизни и работы Виктора Попкова стала его последняя картина «Хороший человек была бабка Анисья». В отличие от других вещей это полотно рождалось мучительно и долго, в совсем, казалось бы, законченной картине он вдруг переписывал заново целые куски: то изменял пейзаж, то вводил новые персонажи, более значительные и глубокие. Он вспоминал случай, который он наблюдал в селе Велигожье.

...Вся в золото убрана природа; могучий дуб склонил свои ветки над горсткой старых женщин, пришедших для того, чтобы предать земле бабку Анисью. Их немного, но всех их покойница одарила на своем жизненном пути чем-то хорошим—словом, делом, подмогой. Они благодарны ей за жизнь, прожитую вместе, за общую судьбу, за разделенные радости и печали.

Почти во всех картинах Виктора Попкова рядом со старыми людьми находим мы и молодых. Между ними нет противоречий; это и «Северная песня», и «Мой день», и «Ожидание», и другие. Особенно ясно воспринимается тема общего духовного начала различных поколений в картине «Северная песня». Поют женщины-вдовы, их слушают студенты, те, кому дороги традиции и культура своего народа. Одухотворены лики женщин, переживают они слова и мелодию старой русской песни. Эта одухотворенность передается и молодым людям — все захвачены единым человеческим переживанием. Величие людей и величие земли чувствуются в живописи Виктора Попкова — этой возвышенной живописной оде русской земле, русскому человеку.

И не случайно последней работой Виктора Попкова стала картина «Пушкин. Село Михайловское», картина о поэтическом гении, выразившем так полно душевное здоровье и богатство своего народа.

Картины Виктора Попкова будут жить долго, они только начинают свой путь в сознании соотечественников.



Что такое любовь?

Письма бывают разные: иногда это просьба, иногда — жалоба, порой это просто желание поделиться своими мыслями... Письмо Татьяны Якимкиной — это и вопрос и рассказ. Ответа в нем нет. Попробуйте найти его сами. Редакция будет рада опубликовать интересные ответы. Итак: что такое любовь?

Вчера дала по морде Сашке Павлову. Можно сказать: по лицу, но так вернее. Бьют, когда человек становится скотиной, а у скотины — морда. Врезала от души, рука болит.

За поцелуй!

Шли садиком из школы, как обычно. Листья кругом, сверху и под ногами, заревые. Ничто не предвещало. Вот просто взял за плечи и поцеловал без никаких. Я говорю: «Ты что, сбесился?» А он: «Чего дерешься, дура? Может, я тебя люблю». «Умный нашелся! Разве любят так? Ты и не знаешь, что такое любовь!» «А ты знаешь?»

Не знаю. Правда ведь не знаю! Как же так? Ведь мне пятнадцать лет, мне скоро предстоит по правде целоваться, а что? Встречаются же некоторые девчонки из нашего класса. И целуются, только я так не хочу. Не надо мне пока ни встреч, ни поцелуев, а разобраться надо. Действительно, что такое любовь?

Со школьными предметами намного легче. Там учебники, там учителя. Спросить бы нашу классную про зто!.. Скандал, инфаркт. Нет, я б не струсила, спросила, а толку что? Все будет, смех и слезы, только не ответ. Есть дурочки, на радио такие вопросики шлют. Чтобы потом на всю страну вещали. Не хочу! Не понимаю я вопросов в никуда. Какие-то неведомые тети или дяди прочтут по долгу службы, может быть, со скукой и досадой, и отвечают, как безразмерное платье шьют на всякого-провсякого. Даже глаз их не видно! Уж лучше спрашивать кто рядом, кто близко. Так я и сделаю.

Что такое любовь?

Марина Князева, студентка медицинского, ответила мне так:

— Возьми учебник по физиологии и прочитай внимательно: что будет непонятно — спросишь.

Что спрашивать? В учебнике я б и сама прочла, они в магазине продаются. Так то — физиология!

Соседка, Катерина Александровна, послала к классикам:

— Леночка, разве ты не читала Тургенева, Пушкина? Анна Каренина, Наташа Ростова... Ах, русские писатели создали галерею женских образов пленительного очарования!..

Как же она Шекспира упустила? Просто неловко про Джульетту умолчать. Читала, знаю, только зто было все когда? И так ли было? Ведь плод воображения писателя! А я хочу как в самом деле, в жизни, вот сейчас.

Девчонки утверждают, что любви нет вообще, а все, что говорят и пишут в зтом смысле,— обман, для красоты придумали. И сейчас любовь даже не в моде, так что если когда и была, устарела и отмирает. Потому что наш век скоростной, деловой, и на такие романтические пустяки времени нет. «В общем, не забивай себе голову зтим делом, чтобы потом не разочаровываться». Девчонки зти умные, современные, надежда класса, говорят уверенно, а глаза у них невеселые.

Мама? Раньше, говорят, у матерей спрашивали про такое.

Раньше матери рассказывали сами, как они выходили замуж, как с отцом познакомились, как встречались.

Было или не было?

Я знаю только, что отец от нас ушел к другой — и все.

Рискнуть? Мама вязанье на пол уронила. Посмотрела на меня со страхом, словно я в руках держала бомбу или автомат.

— Что зто... тоже входит в школьную программу?

— Не входит, я сама интересуюсь.

— Откуда зтот нездоровый интерес, не рано ли? У матери такое спрашивать! Не понимаю! И вообще лучше бы алгебру учила, об зкзаменах думала.

Почему интерес нездоровый? Алгебру я учу, мы все учим алгебру, хотя не всем она понадобится в жизни. Вот я не буду математиком, но буду женщиной и выйду замуж, а для зтого надо любить.

Сашка встречается с Мариной. Спрошу. Что из того, что парень? Он мне брат!

— Любовь — анахронизм, Аленка, усекла? Теперь зто зовется секс. Вот подрастешь — узнаешь, а пока не лезь с расспросами к кому попало, еще нарвешься. Поняла?

Тоже... как будто я ребенок. Я взросло выгляжу, меня в кино пускают на любые сеансы. Только секс не любовь, вот и все! И все рано да рано, а прошлый раз в библиотеке женщина одна спросила книгу «про любовь», так, когда вышла, губы поджимали: мол, уж пора переключиться на другие темы. Я ее знаю, знаю, что ей тридцать лет. Значит, в пятнадцать рано, а уже в тридцать поздно — так выходит?

Чего я понаслушалась, чего я понаслушалась!

Перечитала свой дневник. Неправильный он получился, даже чисел нет. Может, совсем зто и не дневник, я для удобства так тетрадь зову, все записи будут про одно, чтоб я потом прочитала, подумала, сделала вывод. Для того и пишу.

«Любовь — зто привычка. Любовь — зто долг».

Что ж, Джульетта так быстро привыкла к Ромео или после должна была привыкнуть? И у Анны Карениной долг, может, был? В голове помутилось!..

— Любовь? Ты смотри на животных, у них все натурально. А люди накрутили из-за маскировки, только жизнь усложняют себе.

Я не животное. Я думаю, я говорю, я много всего умею и не хочу идти назад. Столько книг о любви, столько песен и сказок красивых! И картины и статуи, что ж, все притворство одно? Как могли сговориться народы всех стран, всех времен, для чего всем маскировка какая-то потребовалась? Нет и нет. Не звучит!

Подошел ко мне парень, лохматый такой, как девчонка. Неряха, незнакомый, с чужого двора, говорит:

— Слышал, ты интересуешься любовью? Могу наглядно объяснить, в популярной форме. На личном опыте. Давай?

Ответила, как надо, это я умею, в городе как-никак и родилась и выросла. Да, мои «любовные интересы» стали уже достоянием общественности. Поднимаюсь по лестнице, а на площадке соседки стоят, обсуждают:

— Ну, этой до десятого не дотянуть — другое на уме. Раненько на любовь-то потянуло. И главное, ведь не стыдится, а в открытую.

— Ох, молодежь пошла, ох, молодежь, а матери переживанье!

Про меня. Как посмотрели! Я прошла, не поздоровалась — пускай!

Ну, почему они такие злые?

У Ларки Кравченко мать умницей всегда считалась — эрудитка. Я специально к ним пошла, мы с Ларкой в разных школах, редко видимся. Велась застольная беседа на высоком уровне, свернула разговор в нужную сторону. Мария Львовна разразилась потоком общих фраз:

— Любовь — это симфония. Это сказка, это цветок. Праздник жизни! Но она — тайна двух. Из области невыразимого словами. Слова лишь искажают, огрубляют, опошляют. В девушке чистота важна, Аленушка. Не только тела, но и помыслов, запомни!

И понесла. Уж я была не рада и не знала, как уйти. Ларка пошла провожать, и я спросила у нее:

— Она это что, всерьез или крутит?

Тряхнула головой, плечами дернула:

— Не знаю. Не думала. У меня интереса нет к этому вопросу.

Нет так нет.

Через два дня случайно с Марией Львовной встретилась на улице, она остановилась, и...

— Ты очень развитая девочка, Алена, развитие у тебя опережает... Совсем взрослые интересы. По-моему, тебе с Ларисой скучно, она еще вся в детстве: бадминтон, марки, коньки. Но ты уже, конечно, новыми подружками обзавелась? До свиданья, девочка, теперь мы долго не увидимся, подготовка к экзаменам, Лара с учебником не расстается...

А до экзаменов еще... Словом, понятно: больше не приду.

Невыразимое словами... Даже о музыке рассказать можно: Паустовский умел находить слова. Почему же нельзя говорить о любви, почему эта тема запретная? Уклоняются, пресекают, стыдят, подозревают. В лучшем случае пообещают: «Выйдешь замуж — узнаешь. Подрастешь и...» Что ж это, с возрастом само к нам с неба упадет? Что ж, значит, замуж идти не любя, а в надежде, что после полюбишь? Учат читать, и плавать, и играть на рояле. Долго учат, времени не жалеют. И даже самые тупые обучаются в конце концов. А любовь — ведь это важно, может быть, важней всего. Почему вы не учите нас? Вы, взрослые, вы опытные, умные, вы должны! Как? Откуда мне знать. Только надо. Поймите, ну вы не ответили, другие найдутся, которые только удобного случая ждут. Эти не постесняются, наоборот. Вы разве надписи на стенах туалетов не читали? И на заборах. Не слышали похабных анекдотов, грязных слов, намеков, ругательств? Вот те, кто это делает, охотно объяснят «все про любовь», убеждают, учат. А вы, проходя мимо, ускоряете шаги, отводите глаза, будто вас не касается. Вы пожимаете плечами, а потом ужасаетесь, откуда мы «такого набрались» да почему это нас тянет к недостойным людям, ко всяким пошлякам. Вы сами нас туда толкаете. Нам больше некуда идти.

Чистота помыслов — да разве знание может человека загрязнить? Это от всяких недомолвок и намеков, от запретов всяких образуется грязь, поднимается муть.

К тете Любе поеду, найду ее адрес. Как я раньше не вспомнила? Библиотекарша она, пенсионерка, и долго на нашем дворе жила, а потом получила квартиру в микрорайоне. К ней шли и маленькие и большие со своими «почему». Всего на свете тетя Люба, может, и не знала, но понять могла. Она не испугается и не уклонится.

Действительно, не уклонилась. Обрадовалась мне, грецких орехов блюдо целое достала: помнит, что я люблю. Сидели мы с ней и так хорошо, открыто говорили о космосе, о юбках «макси» и вообще о моде. Пока я свой вопрос не задала. Тут все переменилось. Нет, нет, она не удивилась и не испугалась, как другие, а как-то отдалилась. Порвалась между нами ниточка, и слова зазвучали мертво, деревянно. Я смутилась, стало жалко тетю Любу, и слова уж до меня совсем не доходили, терялись. Помню, было про науку сексологию и про специалистов этого дела, про письма, лекции, учебники. И еще про сочетание физиологического начала с духовным. Я устала, я поглупела от напряжения и потому сказала очень вдруг:

— Спасибо, тетя Люба. Хватит! Мне понятно.

Тогда она стала обычной особой, посмотрела на меня виновато, а провожая у дверей, уже сказала:

— Не получилось у меня, Аленушка, не вышло. Может, стара? И есть что сказать, а не умею. Не готова я к этому разговору, а говорить бы надо, очень надо. Об этом говорить должны умные, добрые, чуткие люди.

Тетя Люба, тетя Люба! Где они, эти люди? Не найти мне их. А население в городе побольше миллиона. Идут по улице сплошным потоком, мелькают лица, ноги, руки... Не буду больше спрашивать ни у кого! Что мне, больше всех, что ли, надо? Не хочу больше думать про это! Хватит с меня.

Что нас ждет? Может, еще через пять лет, а может, завтра, но все равно, как головой об стенку или с лодки в воду, когда плавать не умеешь. Говорят — и так научаются, только не все. Кое-кто утонет, большинство спасут, но страха наберутся и воды наглотаются все. Может, нас взрослые не учат потому, что сами не умеют, так и не научились, а признаться в этом не хотят? Ведь плавать многие не могут и не учатся. Просто обходят стороной все реки и моря. Или смирно сидят у бережка. Или судно выбирают понадежней и спасательный пояс чтоб под рукой. Я Волгу переплыть могу, три года ходила в бассейн, чтобы как следует научиться.

Не хочу на берегу сидеть и тонуть не хочу. Что мне делать?

Татьяна ЯКИМКИНА

г. Куйбышев.

груз, как он отразится на летных качествах машины. И уже в зависимости от аэродинамики груза строить план полета. Нужно обдумать, как взять груз, как его застропить, под каким углом держать. Иногда выгодно, чтоб груз висел неподвижно, иногда его специально раскручивают. Приходится предугадывать, как поведет себя груз в небе, иначе можно столкнуться со всякими неожиданностями. Инесса Андреевна рассказывала, как однажды вертолет переносил верхнюю часть буровой вышки. Монтажники, разбирая конструкцию, решили, что снимать с нее деревянные трапы не стоит. Привязали, и ладно. Ну, а в воздухе эти трапы вдруг превратились в рули и заставили машину отплясывать в небе половецкие пляски. Работа с грузом на подвеске — дело сложное, но благодарное. Трудно переоценить ту помощь строителям, которую она дает.

Надвинулся и исчез за краем иллюминатора МИ-6 со своим грузом, и Инесса Андреевна повела машину над просекой будущей железнодорожной трассы.

Говорят, сверху виднее. Это верно во многих смыслах. Вот начинает плавно изгибаться внизу линия просеки. Идущему по ней остается только гадать — почему. А с вертолета сразу все ясно. Впереди дорогу преграждает край озера... Движется внизу вездеход — тащит опору высоковольтной линии. Куда? Вот туда — справа, на расстоянии километра, ясно видно приготовленное для нее место. Ползет по проселку грузовик — навстречу ему далеко впереди другой. Шоферы еще не знают, что встретятся, а вертолетчик уже предвидит их встречу. Все это рождает ощущение, что ты понимаешь все происходящее внизу на земле, чувствуешь связь между разными, еще не подозревающими друг о друге событиями. Так полководец наблюдает на карте картину разворачивающегося сражения, охватывая все детали разом.

Сент-Экзюпери когда-то говорил, что, путешествуя по дорогам на Земле, люди занимаются чем-то вроде самовнушения. Им видно только то, что вблизи, то, к чему прикоснулись руки человека. У людей невольно складывается впечатление, что Земля освоена вся, вся покорена. Но стоит заглянуть в глубь ее бескрайних пространств, лежащих справа и слева от дороги, и становится ясно, что Земля осталась сама собой, она все так же самостоятельна и непокорна. Пока поезд идет по рельсам, пока вертолет садится на приготовленную площадку, Земля подчиняется человеку, но пусть он сделает только шаг в сторону, Земля тут же докажет ему свои права на самостоятельность, потребует борьбы за каждую пядь.

Июльским воскресным вечером через песчаную полосу старого сургутского аэропорта тянется цепочка парней с рюкзаками. Это идут квартирьеры — авангард большого студенческого отряда. Им нужно как можно скорее попасть в ту точку Тюменской области, где ждут их отряд, и разбить там лагерь, приготовить жилье. Дороги к этой точке нет пока никакой: ни железной, ни автомобильной, ни водной. Аэродрома там тоже, естественно, нет. Так что доставить квартирьеров на место может только вертолет.

Михаил Беляев





✪

За яблоками очередь в Москве,
А здесь они на землю оладают.
И осы ищут яблоки в траве
И каждое стеленно выедают.
Уже не вспомнить ливней лервый дым
И завязей с лушистыми бочками,
Промчались соки сильные ло ним,
Их округлив и лороднив с медами.
И, знойно заблистав на высоте
И вздрогнув, как лодстреленная лтица,
Так ладают, как будто красоте
Один удел — в глухом саду разбиться.
Им чье еще внимание привлечь!..
От красоты атласно-светлой тяжки..
Никто не хочет яблоки беречь:
Ушел хозяин, и ушли дворняжки.
Я в сад войду, над яблоком склонюсь
И осторожно шевельну ногою —
На яблоке я словно лодорвусь:
Осиный смерч взовьется надо мною.
Неужто зря летали соловьи
Сюда греметь, лросторы содрогая!
Тот край села в осеннем забытьи
Становится осиным желтым краем.

✪

Ясноглазый ларень
В лолночи морозной
Ясноглазой Варе
Говорил серьезно:
— Где со мной ты будешь,
Солнце отколаю!
Любишь меня! Любишь!
— Не знаю... не знаю...
— Сердце не застудишь!
Все цветы оттаю!
Любишь меня! Любишь!
— Не знаю... не знаю...
— Небо в дар лолучишь!
Небом осияю!
Любишь меня! Любишь!
— Не знаю... не знаю...
— Ты на звезды стулишь!
В звездах закачаю!
Любишь меня! Любишь!
— Не знаю... не знаю...
Что ты все колдуешь,
А не поцелуешь!



А. КРИЧЕВСКИЙ

ВЫСТОЯЛИ!

Известный советский кинооператор-документалист рассказывает о героических днях Сталинградской битвы, как они ему виделись через визир киноаппарата.



Туман накрепко прижал авиацию к земле, и нет ни малейшей надежды улететь самолетом. Я бросаюсь с аэродрома на вокзал, чтобы устроиться на какой-нибудь поезд. Сутки томлюсь в набитом до отказа вагоне и наконец, словно из тюбика, выдавливаюсь со всей своей аппаратурой на переполненный войсками перрон. Здесь, как условлено, звоню по телефону (он и сейчас сохранился в моем фронтовом блокноте: Приволжский военный округ, добавочный 00-53, капитан Кириллов). Голос в телефонной трубке торопит: «Через сорок минут уходит самолет к Сталинграду. Вы летите вдвоем с корреспондентом «Правды». Он ждет вас на аэродроме. И, кстати,— добавляет Кириллов,— летите на бомбардировщике, и ваши места в бомболюке». «В бомболюке, так в бомболюке,— думаю я,— лишь бы лететь!»

Попутчиком оказался мой старый товарищ, автор сценариев «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» Алексей Каплер. Мы втискиваемся в узкую щель бомболюка и, глядя с опаской, как под нами закрываются створки, шутим: «А что, если штурману вздумается раскрыть их в полете?»

...Струйки ледяного ветра гуляют в темноте бомболюка. Саратов уже далеко, и в щели между створками проносится тусклая, неприветливая сейчас земля. Мы летим низко, и в поникшей траве я вижу вдруг красочку жизни: две ярко-рыжие лисицы играют внизу и, уставив морды вверх, словно бы провожают меня в стремительном полете.

Через два часа, замерзшие, мы приземляемся в первом пункте своего путешествия. К концу дня, если достанем машину, доберемся на переправу в Сталинград.

Нам везет: попутный бензовоз уже мчит нас по накатанной в степи дороге. И хотя мы не видим здесь тех, кто следит за дорогой, выметает пески, нанесенные из заволжских просторов, мы удивлены образцовым порядком на трассе. Через равные промежутки упрятаны в капонирах аварийные тракторы. Повсюду указатели километров и, что не менее важно, указатели ближайших щелей на случай налета врага. Дорога пуста и словно бы ждет чего-то. Пока мимо нашего бензовоза проносятся только вешки с пучками соломы, и мы острим: не трасса ли Сочи—Мацеста перед нами? Вешки ли это, а может, пальмы?

Можно ли было предполагать тогда, что вскоре по этой дороге из далеких тылов страны пройдут за короткий срок тысячи автомашин с пехотой и грузами? Что двести тысяч солдат, пятьсот танков, шестьсот орудий в ноябрьский ледостав будет переправлено через Волгу?

В сталинградских войсках боевую кинохронику снимали мои товарищи — украинские операторы. Мы вместе участвовали в обороне Киева. Меня затем направили на Черноморский флот, а они прошли с кинокамерами тяжкий путь от Днепра к Волге.

После флота и болотных дорог под Ржевом я всем сердцем рвался на встречу с друзьями. Но в Ахтубе застал только оператора Валентина Орлянкина. Я сразу же набросился на него с вопросами: как работать в том пекле, что заревом сейчас отсвечивается в окнах нашей избы? Как переправиться через Волгу? Как подготовить аппаратуру к «пешей» работе в разрушенном городе?

Валентин велит мне оставить кофры и часть пленки в Ахтубе. Велит носить аппарат в трофейном ранце за спиной, а еще лучше на ремне, на запястье



Знаменитые сталинградские светильники — лампы, сделанные из снарядных гильз.

правой руки. Советует отказаться от тяжелых длиннофокусных объективов, могущих приблизить цель. В Сталинграде все цели близко, в том числе и живой противник. Кассеты с запасом пленки на день придется носить в полевой сумке. Вместе с револьвером и «Лейкой» груз получается тяжелым, но все же с ним можно бегать, ходить, ползать и, главное, снимать. «Ну, а для одеяла,— закончил Орлянкин,— места уже нету. Если что, укроешься шинелью»...

Волга тщательно просматривается немцами. Их артиллеристы и минометчики как бы разделили реку на квадраты и методически обстреливают все живое. И самолеты врага не оставляют Волгу в покое. Лишь когда наступает вечер, выползают из своих укрытий бронекатера и рыбачьи лодки, буксиры и баржи, понтоны — все, что держится на плаву и может нести в Сталинград груз. В осажденный город переправляются войска и боеприпасы, продовольствие и медикаменты. Из Сталинграда на левый берег прибывает иной десант. Его бережно опекают сестры, санитары, рыбаки и матросы. Это раненые защитники города — солдаты Чуйкова и Родимцева, Гуртьева и Людникова.

В холодной октябрьской ночи особенно далеко слышатся приглушенные человеческие голоса, команды, ругань, стоны раненых, скрип весел в уключинах, урчание моторов, машин кораблей и катеров.

Всю эту наполненную звуками ночь прорезают сигналы офицерских свистков и приказания радиодиспетчера переправы. Оживленную и страшную картину освещают зависшие в небе ракеты врага и отблески рвущихся на воде мин и снарядов. Но не обстрелы немцев диктуют здесь обстановку: фонарь регулировщика — вот начальство на переправе. Именно он, фонарь, может приказать остановиться или бежать к лодкам, грузиться в баржи, отчаливать под огнем или ждать, когда немец будет давать «антракт». Бессменные регулировщики переправы научились угадывать поведение врага, и в «антрактах» фонарь торопит, буквально гонит всех и вся к воде, к лодкам, к баржам и катерам.

Каждая буханка хлеба, каждая мина, каждый снаряд и ящик патронов переносятся здесь на руках. Путаясь в темноте, мы с Валентином тащим мешки с хлебом и свои аппараты в лодку. Идти по песку тяжело. Меня обгоняют и обгоняют солдаты, и среди них я вижу какие-то необычные и мало похожие на человека фигуры. Мертвенный свет немецкой ракеты выхватывает из темноты эти фантастические, словно бы уэллсовские чудовища, и я не сразу понимаю, что вижу солдат, несущих на своих плечах разрубленные туши баранов, телят и свиней...

На берегу Орлянкин чувствует себя, как дома. Он знает многих солдат и офицеров переправы. Несмотря на темноту, ориентируется в обстановке и точно улавливает момент, когда нужно отчаливать, оттолкнуться от берега.

Два пожилых солдата энергично берутся за весла и молча уводят лодку в темноту. Они работают все быстрей и быстрей, и лишь прерывистое их дыхание нарушает сейчас тишину первой моей пока еще непонятной сталинградской ночи.

Я мучительно стараюсь разглядеть в темноте то, что происходит на берегу, в городе. Словно скрестившиеся шпаги, через темень протянулись две трассы пуль. Очевидно, идет бой за овладение улицей, а быть может, домом, но я не решаюсь спросить, так ли это. Трассы все режут и режут небо, и наконец— удар, все озаряется ослепительно белым светом и сразу погружается в тьму.

— Наши бросили мину. Кончили фрица...— почему-то шепотом произносит лодочник.

...Мы помогаем выгрузить хлеб, прощаемся и убегаем с Орлянкиным вверх по траншее. Входим в подземный ход, освещенный коптилками, сделанными из снарядных гильз. Фитили в коптилках-«сталинградках» из кусков шинели горят дымно, выхватывая из темноты огромные буквы, написанные на стене,— «За Волгой для нас земли нету».

Два автоматчика охраняют вход в блиндаж командира 13-й гвардейской стрелковой дивизии Александра Ильича Родимцева. Автоматчики пропускают нас внутрь.

...Месяц назад, в середине сентября сорок второго года, положение защитников Сталинграда было критическим. Города уже, по сути, не существовало. Жители давно покинули задымленные, догорающие руины. Только наши солдаты, используя нагромождения полуобвалившихся стен, повисшие в воздухе этажи и лестницы, упорно продолжали драться с врагом. Гитлеровцы рвались к заводам. На узком, не более четырех-пяти километров участке наступало

пять отборных немецких дивизий. Только за один день 14 сентября эскадрильи четвертого воздушного флота Геринга сбросили тысячи бомб на районы заводов «Тракторный» и «Баррикады».

В этот день, в 15 часов 25 минут, командующий 62-й армией генерал-лейтенант Чуйков записал в своем дневнике: «...уже охрана штаба армии вступила в бой...»

Стены блиндажей ходили ходуном от рвущихся бомб. Земля осыпалась с потолка, покрывая собою оперативные карты и карандаши, телефоны и оружие...

Чуйков получил в этот час драматическое донесение: «Окружены. Патроны, вода есть. Умрем, но не сдадимся...» Военному корреспонденту удалось тут же передать эти слова в Москву на Центральное радио, и они прозвучали повсюду, их услышали в семьях тех людей, чьи подписи стояли под донесением.

В этот, казалось бы, последний час под разрывами бомб и мин высадилась на сталинградский берег 13-я дивизия Родимцева. Помощь пришла вовремя. 62-я армия выстояла, удержалась в городе. Успех вселил надежду в сердца, люди поняли — даже в такой тяжелый момент можно побеждать!

Сейчас мы с Валентином Орлянкиным оказались за столом Александра Ильича Родимцева, и первое, что поразило меня в его блиндаже, это укрепленная на стене карта... Мадрида. Здесь были и другие, рисованные от руки, схемы сталинградских улиц, площадей и даже проходных дворов (хотя сейчас в разрушенном городе все дворы стали проходными). Но почему в сталинградском блиндаже находилась карта Мадрида, я узнал позже. Александр Ильич Родимцев, в 1936 году молодой лейтенант, командир пулеметного взвода, сражался против фашистов в Испании. Мадрид и Сталинград — трудные звенья на пути этого замечательного человека. По старой привязанности к своему испанскому прошлому возил с собой генерал карту Мадрида.

С веселой хитринкой в глазах, молчаливый, но при хорошей шутке взрывающийся бурным смехом, генерал Родимцев—добродушный хозяин командного пункта. Прежде чем говорить, он заботится о бутербродах и чае с лимоном для Орлянкина и меня. Карта Мадрида и свежий лимон здесь удивительны...

Начальник штаба дивизии подполковник Бельский — признанный и дерзкий специалист по военным действиям в условиях города. Это его рисованные карты рассматриваю я сейчас на столе комдива. Бельский наносит на карты и схемы задуманные им варианты ведения боя в квартирах и подъездах, в подвалах домов и цехах, в канализационных магистралях города и даже в баках бензохранилищ. Совсем еще молодой, с голубыми глазами и нежным румянцем во всю щеку — за что его прозвали здесь «красная девица», Тихон Бельский не терпел хамства и всегда становился белее снега, если офицеры бражничали или распускались.

— Знаете,— как-то сказал мне Бельский,— в свои двадцать восемь я жизни еще не видел, а смерти насмотрелся вперед на полвека.

Снимая потом в одном из батальонов, я услышал от пожилого солдата почти те же слова: «Мне пятьдесят два, сынок. Я прошел гражданскую и финскую, а не увидел того, что за десять дней в Сталинграде».

...Как же рассказать на пленке о солдатах, обороняющих город? Как перенести на экран хотя бы частицу того, что окружает меня в сложной городской войне?

Я дежурю сутками, чтобы заснять небольшой боевой эпизод, хотя солдаты, оберегая меня, часто не дают оказаться там, где свершается действие. Я брожу с аппаратом по развалинам, стараясь найти что-то для своей съемки. Карабкаюсь вслед за снайпером Колей Брысиным — за прыжки по обвалившимся карнизам и чердакам Сталинграда его здесь прозвали Дугласом Фербенксом. И часто за один многотрудный день раздобываю всего лишь один удачный кадр!

Таким кадром может стать портрет солдата после атаки. Дымок от выстрела фашистского снайпера. Мелькнувшая в проеме окна серо-зеленая тень врага. Или заснятая с риском (камера приподнята на мгновение над окопом, она видна противнику!) панорама немецких позиций.

Никакие телеобъективы здесь не были нужны. От командного пункта армии до КП полка рукой подать. В поисках нужных людей и частей мы не раз попадаем в «слоеные пироги», где позиции противника перемежаются с нашими в цехах заводов, в руинах города. Солдаты придумывают здесь свои «хитрые» укрепления, создают уникальные огневые рубежи и баррикады. Тропинки называют «улицами», узкую полоску земли под обрывом высокого берега — мертвую зону, куда не упадет ни мина, ни снаряд врага и не заглянут стереотрубы противника,— называют здесь «Проспектом Победы». Аккуратные таблички «Здесь не переходи, а переползай» или «Внимание! Стреляет немецкий снайпер» расставлены во всех опасных местах. Я заснял надпись неподалеку от сгоревшего исполкомовского «ЗИСа»: «Из машины председателя наблюдают фашисты. Берегись!» На взорванном баке нефтехранилища кто-то нарисовал стрелку, глядящую на запад, и написал: «До Берлина — 3 426 километров».

Пленка моя запечатлевает кусочки неповторимого быта сталинградских блиндажей, хотя со студии летят ко мне грозные телеграммы: «Почему не шлете съемки масштабных боев? Зачем расходуете пленку на ненужные кадры быта?» А как же мне не снимать солдат, что приносят в блиндажи разную утварь, мебель, посуду и даже детские игрушки? Я понимал всю глубину этих поступков: притаскивая из безмолвных руин все эти вещи, солдаты словно бы говорили, напоминали самим себе о мирном и где-то покинутом доме. И я старался снимать неповторимые штрихи жизни сталинградцев.

Вот так однажды в каком-то блиндаже я заснял огромную кровать с никелированными шарами. Когда-то такие кровати являлись символом обжитых старых квартир. А сейчас поперек этого «символа» на голой сетке крепко спят шестеро солдат из разведки. Позже я заснял их вторично, когда, уходя на задание, долго оправляли они маскировочные комбинезоны перед огромным, поставленным прямо на берегу зеркалом-трюмо. Как солдаты дотащили его сюда из города, одному богу известно! Заснять бы такую или подобную «боевую» операцию, думалось нам с Орлянкиным. И вскоре представился случай. В одном из подразделений служил снайпер, в прошлом часовщик из Житомира. Многие солдаты приползали к нему в окоп с одной просьбой — отремонтировать им часы. Тут мы и засняли двух гвардейцев, нашедших в отнятом у немцев доме поврежденные осколком стенные часы. С огромным риском солдаты доставили эти часы в окоп к мастеру. Мы находились возле, и операция «Часы» была заснята во всех подробностях. Отремонтированные часы шли потом очень точно и стали достоянием всей гвардейской роты. Возвращаясь в блиндаж, солдаты отмечали по этим часам время, ушедшее на сражение.



На снимке (слева направо): кинооператор В. ОРЛЯНКИН, начальник штаба 13-й гвардейской дивизии гвардии подполковник Т. В. БЕЛЬСКИЙ, командир 13-й дивизии гвардии генерал-майор А. И. РОДИМЦЕВ, зам. начштаба дивизии по политической части полковой комиссар А. К. ШУР (из фотоархива Т. В. БЕЛЬСКОГО).

В другой раз я увидел в окопах солдат с кошкой. Я снимал этих людей, старавшихся согреть и приласкать испуганное животное. Надо было видеть в момент съемки лица солдат! Лаская кошку, огрубевшие и уставшие на войне люди преобразились. Кошка, мурлыча у них на руках, напоминала другое время: далекий очаг и родную семью, за которые сражаются все они здесь, на последнем рубеже у Волги...

Как-то один из офицеров 45-й дивизии, подполковник Кортавцев сказал мне: «А знаете, у меня в блиндаже грудной ребенок». Я тут же помчался в блиндаж Кортавцева.

Во время ночной атаки наши солдаты забросали немецкое укрепление гранатами. Ворвавшись, они увидели среди мертвых тел русскую женщину с уцелевшим малышом на руках. Как попала она к фашистам, узнать не удалось. Николай Кортавцев унес ребенка к себе. Вместе с солдатами наладил питание и ждал случая переправить младенца за Волгу. Случай скоро представился, и Кортавцев через госпиталь на том берегу отправил с ординарцем ребенка в тыл и дальше, к своей жене. Я заснял операцию под названием «Сталинградский крестник»; заснял, как солдаты готовят пищу и кормят ребенка, как выносят младенца к переправе. Я снимал отплытие лодки и даже салют из автоматов в честь отъезда «крестника».

Вот какой боевой материал оказывался подчас в наших сталинградских кассетах.

Вместе с сержантом Николаем Тертычным вскочили мы как-то во время обстрела в подворотню разбитого в прах дома. «Сфотографируйте»,— попросил Тертычный и показал мне на доску со списком жильцов.

Немцы вывели на расстрел всех, кто жил в этом доме. Люди не знали, что настал последний их час, но когда конвой приказал прикрепить ярлычки к ключам от квартир,—поняли все. Тот день оказался воскресным, и немцы расстрел отменили. Для детей они даже выдали манную крупу. Приговоренные люди сварили кашу, накормили детей, а в понедельник утром их вместе с детьми расстреляли. Коля Тертычный узнал обо всем этом от очевидца, тоже выведенного на расстрел, но чудом уцелевшего и приползшего к своим.

Никуда не пошел тот кадр из подворотни: домовая доска с потускневшими фамилиями, руины пустого дома и лицо Коли Тертычного. Как много трагичного стоит за кусочком пленки длиною в десять метров, затерявшимся в бездонных архивах войны!

На рассвете 19 ноября 1942 года в Сталинграде услышали грохот далекой канонады. Она долго гремела на юге и западе, за пределами утихшего города. Именно так, по нескончаемой канонаде далеко на флангах узнали мы о долгожданном наступлении войск Сталинградского и Донского фронтов.

Я стал искать пути, чтобы пробраться в район наступления.

Я не забыл первую свою сталинградскую ночь на переправе и не хотел вновь испытывать судьбу, повторять рейс по воде. Однако и совершить какой-то сквозной переход на юг от осажденного Сталинграда было по-прежнему невозможно. Пришлось идти на переправу.

Я без приключений переправился на левый берег и снова на попутном бензовозе по знакомой дороге двинулся к югу. Но знакомая трасса, та, которую мы с Каплером — помните?— назвали «Сочи — Мацеста», теперь уже была не той пустынной дорогой, как месяц назад. В серое ноябрьское утро шли и шли по ней в три ряда машины, танки, орудия на тягачах, катила мотопехота на «ЗИСах», «студебеккерах», «газах», «доджах». Далеко-далеко в тылу ждали они своего часа. Скрывались до поры в редких лесочках, в деревнях, под укрытиями маскировок, в сараях и даже избах, где разбирали одну из стен, чтобы танк мог въехать. Специальные команды заметали на сельских улицах следы машин и танков.

К рассвету мы добрались до своей переправы, где царила напряженная обстановка. Голоса и моторы разрывали здесь тишину утра, и только верблюды —

и они доставляли военные грузы — оставались невозмутимы среди многоликого шума и грохота.

Именно здесь, на этом волжском берегу, увиделся мне подлинный масштаб наступления.

В этот час над Волгой стлались низкие, темные облака. Осевшие под грузом баржи и корабли, расталкивая лед, все больше покрывающий реку, уходили к высокому правому берегу.

С середины реки, с парома, заполненного пленными, вдруг послышались крики. На мгновение они перекрыли все звуки над Волгой. Затем на пароме раздались выстрелы, и только когда он причалил к нашему берегу, выяснилось, что пленные солдаты Третьей румынской дивизии (той самой дивизии, что сегодня в семь тридцать утра была смята нашими танками) стали бросать в воду пленных немецких офицеров. Советский конвой пытался прекратить расправу. Наши стреляли в воздух, но дело было сделано, и паром причалил уже без единого немца.

Встречая затем колонны пленных, я снимал не только печальные картины, но и эпизоды, вызывающие улыбку. Сотни немцев, румын и итальянцев брели к переправам без конвоя. Один раз идущий впереди колонны немецкий офицер предъявил нам записку со словами: «Чекмарев, прими 607 человек». Немец, встречая наших, все время искал Чекмарева.

«...Чекмарнов, Чекмарнов!» — слышался однотонный призыв этого дисциплинированного немца до тех пор, пока колонна не скрылась в прибрежном тумане.

Я не сказал, что в Сталинграде меня приютил член Военного совета 62-й армии генерал Гуров. Когда бы я ни пришел, место в крохотном закутке блиндажа Гурова ждало меня. Там я мог отдохнуть и переложить снятую пленку, зарядить кассеты и поработать над монтажными листами своих съемок, проявить фотопленки для Совинформбюро и «Огонька», корреспондентом которых был на фронте.

Мне хотелось Гурову первому рассказать об увиденном в районах наступления. Но когда я пришел в блиндаж, генерал был занят, допрашивал пленного «языка».

Пленный сидел у стола, в ярком пятне света настольной электрической лампы. Гуров стоял в затемненной части комнаты. Переводчик почтительно склонился к нему, но не переводил, ибо всем было понятно единственное слово «шляфен», которое однотонно и действительно засыпая все время повторял пленный. Возможно, подумалось мне, разведчики не церемонились, когда брали «языка», не верилось, что «шляфен» — уловка, могущая избавить от допроса. Хитрость такая, на мой взгляд, была бы примитивом. И все же пленный, засыпая, твердил и твердил свое «шляфен». Готовилась операция на участке, откуда был взят «язык». Разговор с ним был необходим, и вряд ли Гурова могли устроить бессвязные слова: «...Я вернулся из отпуска; их бин культурише менч... я расскажу потом, что видел в Германии, а сейчас спать, только спать!..» Кузьма Акимович Гуров остался ни с чем, был рассержен и распорядился увести пленного.

Не знаю почему, но засыпающий над столом немец действовал на мое воображение сильнее бесконечных колонн пленных, заснятых вчера на дорогах наступления. Весь облик этого человека являл собою чувство безграничной обреченности и общего для всех сталинградских немцев несчастья. Ему, видимо, сейчас безразлично все, он действительно смертельно устал от войны. Так, во всяком случае, я домысливал глубину эпизода, увиденного в блиндаже Гурова.

Через год, перед взятием Киева, на одном из ночлегов в сельской избе я рассказал этот случай известному сценаристу Борису Чирскову. Мне удалось достаточно полно передать обстановку необычного допроса, и вскоре я получил от Чирскова письмо с просьбой разрешить ему включить этот эпизод в художественный фильм «Великий перелом». Я смотрел фильм. Там актер хорошо сыграл пленного и его «шляфен». Но подлинной драмы человека, уставшего от убийств и войны, по-моему, ему передать не удалось.

Генерал Чуйков и его ближайшие помощники отправились в расположение дивизии Людникова намечать районы, из которых в ближайшие дни и даже часы придется огнем «убеждать» немцев к сдаче. Ветер валил с ног, прижимал к земле, стеснял дыхание, а Чуйков взбирался на третьи и четвертые этажи полуобвалившихся заводских зданий, и сопровождающие — генералы, полковники и прикрывающие группу автоматчики — старались, как могли, не отстать от своего командира. Я же, окончательно задохнувшись, забегаю все время вперед и ловлю визиром своего аппарата серые папахи генералов. Вот, наконец, они собрались в кружок в одном из приглянувшихся Чуйкову местечек. Начальство задержалось, обсуждая свое, а я решил пройти туда, где еще в декабре прорвались немецкие танки и где теперь был кусочек ничейной земли. Стояла тишина, и лишь два занесенных снегом танка с крестами на броне напоминали здесь о недавних событиях.

Хотелось подойти к этим безопасным сейчас вражеским танкам, и я стал выбираться на открытое место. Развалины цеха остались позади, и, снимая солдат, тянущих за собой по снегу привязанные за веревку артиллерийские снаряды (тоже характерное сталинградское!), я передвигаюсь вперед. Все вокруг спокойно. Где-то над центром города кружат «юнкерсы». Под «юнкерсами» проходят наши «Илы». Они метнули на позиции немцев «эрэсы» и деловито удалились. Обычная для январского Сталинграда картина...

Наконец я у танков. Один из них прошел до наших окопов и здесь был подожжен. Сегодня этот давно уже остывший и укрытый снежком танк завис над глубоким окопом. Под ним неожиданно для меня четверо наших погибших солдат. Трое занесены снегом, а четвертый без единой снежинки лежит вверх лицом, словно спит. Непонятно, отчего он умер — от пули, а быть может, от испуга — ведь вражеский танк завис над окопом. Крови не видно, нет и следов ранений. Просто лежит себе в новой шинели парнишка, ветер сдувает с его лица снежинки и тихо треплет волосы. Красивое лицо, словно из фарфора. Нижнюю губу стянула паутина мелких морщинок, и только они, эти морщинки, говорят о предсмертном страдании юноши. Я думаю о нем все время, пока снимаю общий вид печального места, танк, зависший над окопом, и в тени его павших за Родину советских солдат. В этот день мне больше ничего не хочется снимать.

Январь. Враг еще держится на отдельных «островках» в городе. Вот почему в один прекрасный день командарм Чуйков решил подвести танки и пехоту к таким «островкам» и одним ударом покончить с ними.

Танки — их было всего четыре — давно уже ничего не решали в Сталинграде, и считалось большой удачей, что они вообще-то сохранились до сегодняшнего дня.

Начштаба 13-й гвардейской дивизии подполковник



Минута затишья.
Перекур.

Бельский и танкист подполковник Вайнруб, счастливые оттого, что танки вступают опять в дело, нарисовали все цели и маршруты, обозначили время и районы атаки. Танки уже прогревали застывшие моторы, когда я только еще бежал по ходу сообщения, едва успевая в окопы к автоматчикам. Оттуда я должен был снимать атаку. Орлянкин шел в бой с танкистами.

Отправляясь на задание в танке, Орлянкин меньше всего думал, что ручной камерой ему удастся сделать эффектные кадры внутри темной машины. Но он хотел быть рядом с танкистами, хотел попытаться в полумраке заснять хоть как-то поведение этих героических людей в бою.

Немцы увидели с Мамаева кургана танки и сразу же открыли сильный огонь, «вжали» в землю всех, кто сидел и стрелял из окопов. В этот момент мы увидели, как один наш танк развернулся и пошел обратно на берег. Атака длилась минуты. Танки, разрушая остатки строений, давили врага, наша пехота завершала задачу, и тут полетел слух по окопам: в том танке, что повернул обратно, ранен или убит кинооператор! Для меня это было страшным известием, и, прекратив съемку, я стал пробираться к берегу. Танк возвращался. На броне его сгрудились мрачные танкисты. Я взобрался к ним и увидел на дне машины Орлянкина.

Произошла нелепая случайность. Орудийная башня была не закреплена, и, когда танк ворвался в развалины здания, ствол ударился о стену. Башню резко развернуло и рычагами внутри танка придавило Орлянкина. Валентина вытаскивают из люка. Санитары поднимают носилки, и тут раздается слабый, похожий на стон голос: «А где мой аппарат?»

Вот и весь эпизод, в котором как в капле воды отразилось существо человека, чья профессия — кинооператор.

Наутро Валентин Орлянкин вел свои съемки в знаменитом пульбате, несгибаемом пулеметном батальоне 13-й дивизии Родимцева.

Из темных подвалов универмага вышел на свет и сдался в плен сам Паулюс. Фоторепортеры центральных и армейских газет получили задание: за одну ночь отпечатать сотни фотографий с изображением пленения фельдмаршала, чтобы утром эти снимки разбрасывались с «кукурузников» над боевыми порядками врага. Это оказалось последней каплей в той горестной чаше, которую пришлось испить немцам.

...Я снимаю на площади. Здесь бывший скрипач из сталинградского кинотеатра артиллерист Григорий Рева надевает на стеллажи «катюши» чехол из брезента: «отыграла» в Сталинграде его грозная машина. Идти Григорию Рева еще далеко, а пока в войне передышка, достает он с сидения старенькую скрипочку, и над умолкшими руинами неуверенно звучит мелодия...

Солдаты медленно пробираются по тропинкам в снегу. Они слышат скрипку, улыбаются, но идут настороженно: теперь, после конца боев, каждая торчащая из снега проволочка может стать роковой. Мины разбросаны повсюду. Взрыватели придуманы хитро: коснувшись проволочки, можно вызвать взрыв.

Идут по другой тропинке штабные офицеры. В руках у них совсем уж непонятные здесь мирные портфели. Узнаю, что в портфелях ордена и медали.

Тут же, неподалеку, начинается церемония вручения. И вдруг из подвала соседнего, хорошо укрепленного дома энергично застучали немецкие автоматы. Приходится прекращать церемонию. Залетевшие к нам пули заставляют солдат и офицеров отойти к укрытию.

Во всем городе прекратилось сопротивление немецких войск, а здесь вот группа фашистов продолжает вести свой огонь. Значит, много натворили они, если боятся выползать из подвала.

Желая их как-то образумить, комбат посылает к подвалу парламентеров, двух пленных. Проклиная Гитлера и засевших в подвале фашистов, они возвращаются ни с чем. Одного из них свои же ранили в запястье.

Комбат взбешен. «Незачем вести наших солдат на штурм подвала. Незачем,— твердит он.— Только людей терять...» И вызывает по радио танки.

У разрушенной стены собираются люди. Накапливается несколько взводов. Солдаты поздравляют друг друга с наградами. Курят, рассматривают ордена и трофейные пистолеты и—помнишь, читатель, фронтовое «махнем, не глядя»? — обмениваются боевыми трофеями.

Я готовлю аппарат к съемке. Орляикин толкует с каким-то пехотным капитаном. После того, как выдворят из дома последних фашистов, хочет капитан поднять красное знамя на его крыше. Знамя увидят со многих улиц, а это будет значить, что еще один очаг врага уничтожен.

Валентин кладет в карман кожушка запасные кассеты и вместе с капитаном уползает за дом.

Томительное ожидание кончается. С грохотом танки подходят ближе. За ними, делая короткие перебежки, подвигаются к дому солдаты. Кто-то кричит: «Белый флаг, сдаются немцы!» — и солдаты, поднимаясь во весь рост, бегут к подвалу.

Но белый флаг — ловушка. Немцы выкинули его, чтобы наши открылись и вышли под прицельный подлый огонь. Из всех амбразур подвала враги почти в упор стреляют по нашим. И снова на снегу раненые и убитые.

Когда раздался огонь из подвала, фоторепортер Яков Рюмкин и я прыгнули, вернее, свалились в траншею, отрытую в полуразрушенном фундаменте какого-то домика. Минуту мы лежим, уткнувшись в грязный снег, но вот раздаются залпы бьющих в упор танков. Я вижу: начала осыпаться стена дома. Из пролома с поднятыми руками выходят фрицы. «Сдаются!» — кричу я и бросаюсь вперед, ища выхода из нашего укрытия. Одержимый желанием скорее оказаться на месте, Рюмкин, как слепой, мечется и кружит по траншее. В возбуждении он не понимает: достаточно подтянуться на руках — и ты сразу окажешься на поверхности...

Непоправим гнусный поступок с белым флагом — немцы с поднятыми руками ждут возмездия под дулами наших автоматов. Фашистов обыскивают. Отбирают револьверы и гранаты, а у двоих из-под мундиров вытаскивают отрезы шелка. Они еще надеялись послать из Сталинграда посылки! Это вызывает смех у наших солдат и еще большее презрение.

У небритого с обвязанной щекой солдата во время обыска падает на землю трубка. Не смея поднять ее, он стоит, дрожащий и жалкий.

— Возьми свою трубку, солдат! — говорит ему один из наших.

— Их бин арбайтер, арбайтер! — не переставая дрожать, бормочет пленный. Русский солдат воткнул ему трубку в зубы, и пленный сразу перестал дрожать — вместе с трубкой вернулась жизнь!

Маленький эпизод, но он показал стоящим здесь немцам силу и доброту советского человека. Немцами владел животный страх за свое преступление. Они не ждали пощады, и вдруг... Упавшая старенькая трубка, отданная победителем врагу, перевернула привычные для них представления.

В этот миг в тишине за домом ахнула мина. Эхо разнесло этот лопающийся звук над Волгой — и снова тишина.

Сидя на броне машины, танкисты курили и молча глядели на побежденных врагов. Рюмкин и я снимали, как пленных подводили к походным кухням. Из-за дома вышел Валя Орлянкин. В руках он держал обломок древка от знамени капитана. Глаза Вали были полны слез.

...Стреляли танки, а на противоположной стороне дома капитан и Орлянкин готовились к красивой съемке. По сигналу оператора капитан с развернутым знаменем побежал по ступеням, Орлянкин снимает. За домом немцы уже сдаются в плен. Взбегая, капитан наступает на сухую ветку. Ветка соединена с взрывателем мины. Взрыв. Именно его мы и услышали минуту назад! Валентину хватило лишь сил покрыть тело убитого капитана разорванным в клочья знаменем...

В блиндаже у генерала Чуйкова в этот момент находятся сдавшиеся немецкие генералы. Войдя, я вижу картину, которую запомнил надолго. Запомнил потому, что в моем сознании это был конец, полнейший конец врагов в Сталинграде. На походных стульях, у стен и на единственном в блиндаже диване разместились наши враги. Тепло, и все здесь без верхней одежды. Кресты, ордена и другие знаки украшают мундиры этих сейчас уже не надменных, какими видел я в трофейной кинохронике, а просто усталых, пожилых людей. Они вдоволь поели, напились чаю. Тарелки со снедью в беспорядке стоят прямо на трофейных оперативных картах, ставших уже достоянием истории. Через несколько лет эти карты будут изучать в советских военных академиях. Командарм Чуйков сидит на уголке стола и, не скрывая отличного настроения, обращается к «долгожданным» гостям с вопросами. Лишь нога его покачивается из стороны в сторону — тем самым выдается волнение момента.

...Из блиндажа я вновь вышел на воздух. В толпе пленных я продолжал снимать, стараясь отыскивать характерные штрихи и эпизоды исторического момента в Сталинграде. Мне удалось заснять кадр, который вот уже тридцать лет не сходит с экрана. Режиссеры многих стран мира, обращающиеся к кинодокументам борьбы с фашизмом, включают этот кадр в свои фильмы. Впервые он появился в фильме «Сталинград», созданном замечательным советским кинодокументалистом режиссером Леонидом Варламовым. Затем этот кадр затребовал американский кинорежиссер Майлстоун для фильма «Наш русский союзник».

Что же это за кадр? В сцене массового пленения немцев, показанной в «Сталинграде», многим запомнился этот эпизод: через Волгу, спотыкаясь о ледяные торосы, бредет закутанный в тряпье, замерзший фашистский завоеватель. Степной ветер леденит его и валит с ног. Еле переставляя ноги в огромных соломенных эрзац-ботах, немец идет, спотыкается, падает и вновь идет через Волгу в плен.

В облике этого пленного, бредущего через Волгу, виделся мне крах, полнейший и невиданный крах немецких фашистов в России.

томкам своим выстраданную потерями, лишениями и одновременно горделивой радостью за Победу науку героизма.

Эта книга — хорошая иллюстрация к многим страницам нашей истории 1941—1945 годов.

Но меня заинтересовал и ее другой, думаю, не менее важный аспект: как же совсем молодые люди стали героями, как они утверждали себя, выковывая убежденность, стойкость, силу характера?

Убеждающий и убедительный, доверительный по своей интонации откровенный ответ дает эта книга, подготовленная писателем и фронтовиком Ив. Падериным.

Чувствую, что совсем не случайно сборник открывается повествованием пограничника Федора Васильева. Примером собственной жизни — факты и только факты! — он отвечает на вопрос, поставленный им же: когда солдат становится настоящим солдатом?

На войне к войне, видимо, все-таки нельзя привыкнуть. Оттого до сих пор так остры в его сознании восприятия и первого боя и первой атаки, первой рукопашной, первого ранения и первой победы... Но вот и последний бой. «Возвращаюсь домой без руки, но с верой в жизнь. Но как ее строить теперь, эту жизнь?» Работа. Он не мыслит себя без нее: «...Одной рукой высверлил в профиле отверстие, плечом поджал профиль и обшивку, но вот опять загвоздка — болтик. Пытаюсь установить его, но не тут-то было: шайбочка выскользнула... Поджимаю болт подбородком, рукой нащупываю на тумбочке вторую шайбу. Выскользнула и вторая. Головка болта въелась в подбородок. Нашел третью шайбу. Помочил ее слюной, шайба прилипла к пальцу, накинул ее на болт, закрепил. И так болт за болтом, болт за болтом... На подбородке кровь, на губах соленый пот, спина мокрая. Это была первая победа в слесарном деле!» Нужны ли комментарии?!

Разведчик морской пехоты Иван Дмитришин, ветеран обороны Крыма, защитник Севастополя, прожил такую боевую жизнь, что ее с лихвой хватило бы не одному десятку героев...

Рассказ снайпера Василия Зайцева начинается с детства. Уже с этой поры дед и отец — уральские охотники — готовили его ко всевозможным в жизни испытаниям, учили становиться мужчиной. Просто, но с глубокой солдатской мудростью пишет он о своей не простой снайперской «работе».

Исповедь солдата! Как многому она способна научить... Это и позволило полководцу В. И. Чуйкову своим предисловием к сборнику так горячо и вдохновенно рекомендовать его и напутствовать: «В добрый путь, солдатское слово, к сердцам и чувствам молодых читателей».

Вот такая необычная книга «Мы утверждали себя так...» в канун 30-летия Победы открыла собой в издательстве «Молодая гвардия» новую и, хочется верить, явно перспективную серию «Рассказы бывалых людей».

Вал. ОСИПОВ

ВСТРЕЧА С ВЕЙНАХАМИ

Журналистские дороги последнее время несколько раз приводили меня в Чечено-Ингушетию, и я имел возможность довольно близко познакомиться с ее народом, радушным и гостеприимным, как все кавказцы, и по-своему настолько своеобразным, что не сразу удается найти здесь «линию» собственного поведения. Уже первая встреча с жителями горных аулов показала, как пригодилось бы предварительное книжное знакомство с экзотическим краем и его народом.

Однако исправить эту оплошность перед следующей командировкой оказалось не так-то просто, потому что художественной литературы о современной жизни чеченцев и ингушей почти нет. Пришлось довольствоваться этнографическими работами, а они, как известно, ретроспективны, обращены в прошлое. Многое из того, что удалось почерпнуть в них, как потом выяснилось, безвозвратно кануло в Лету и не может характеризовать нынешний уклад жизни двух горных народов.

Вот почему я с интересом прочитал роман чеченского писателя Магомеда Мусаева «После выстрела», переведенный А. Тверским («Современник»), в котором показана жизнь современных вейнахов. Навстречу читателям выходят два поколения чеченцев. Те, кто устанавливал в республике Советскую власть, и молодежь, родившаяся уже после войны.

Обаятелен образ старого Мурдала — ветерана революции, участника гражданской войны. Этот добрый и мудрый человек руководствуется в жизни принципом воинствующей человечности. Ему, коммунисту, глубоко чуждо чувство национализма. «Кто с нами живет, у того и кровь наша»,— говорит он брату Сардалу, алчному стяжателю, у которого нет ничего святого и от которого в конце концов отворачиваются даже собственные дети. Колоритен образ старой Зелихи, отзывчивой и чуткой, отдавшей неистраченное тепло своего сердца приемному сыну Мовсару. Его же драматические отношения со сверстниками и односельчанами — сердцевина романа.

Символично звучат заключительные слова книги: «Начало светать». Дорого обходится порой освобождение от пережитков. Это М. Мусаев подчеркивает и названием романа. Выстрел обрывает жизнь Мовсара, находившегося во власти темных сил, не умевшего противостоять им и контролировать свои эмоции. Но начинается жизнь того молодого, светлого и чистого, которому принадлежит будущее.

Душевный мир человека, борьба страстей — вот что является предметом исследования для чеченского писателя. «Наша чеченская литература появилась сравнительно недавно, а набирает высоту»,— говорит один из молодых героев романа, Нуха. Убедительным подтверждением этих слов служит произведение самого М. Мусаева.

Ил. ОКУНЕВ

ТОРЖЕСТВО МЫСЛИ

Во второй половине XVII века во Франции появились три книги, оказавшие большое влияние на развитие мировой культуры. Это были сборники мыслей и максим Франсуа де Ларошфуко, Блеза Паскаля и Жака де Лабрюйера — французских писателей-моралистов. Их авторы стремились, каждый по-своему, найти разгадку извечной тайны мироздания — человека: Ларошфуко — как обличитель человеческих пороков, непревзойденный мастер краткого, изящного слова; Паскаль — как мудрый наблюдатель, изучающий человека и его место в природе; Лабрюйер — как социолог и мастер ясного, отточенного стиля. И можно только порадоваться, что недавно эти книги снова выпущены в Москве издательством «Художественная литература» — на этот раз в одном томе (Ф. Ларошфуко «Максимы», Б. Паскаль «Мысли», Ж. Лабрюйер «Характеры»).

И. МАРИНОВ

ПЕРВАЯ КНИГА КРИТИКА

Заслуживает похвалы и признательности деятельность тех критиков, которые первыми заметили произведения молодых авторов, пожелали им доброго пути, помогли новичкам дружескими советами, привлекли к книгам дебютантов интерес и внимание читателей. Но столь же важна и необходима такая критическая работа, автор которой, обращаясь к произведениям писателя уже именитого, прожившего долгую жизнь в литературе, создает литературный портрет, где многое читателю откроется, быть может, впервые.

Критико-биографический очерк Генриха Митина «Художник из Апсны» (издательство «Алашара») представляет собой попытку нарисовать литературный портрет одного из старейших прозаиков Абхазии, Ивана Папаскири, автора многих повестей, рассказов, романов «Темыр» и «Женская честь».

Очерк Г. Митина представляет собой как бы своеобразный сплав: в систему своих критических суждений и доказательств автор неоднократно включает мнение читателей о творчестве Папаскири (в очерке удачно использована читательская почта).

Мы смотрим на произведения Папаскири одновременно глазами критика, читателя и самого романиста. Причем этот своеобразный «монтаж» создает ощущение цельности и органичности.

Тем читателям, которые уже знакомы с произведениями художника из Апсны, интересно будет прочитать эту первую книгу молодого критика, которая поможет им лучше, полнее оценить творчество писателя.

Б. ГАЛАНОВ



М. А. Пушкина (в замужестве — Гартунг, 1832—1919). «...Представьте себе, что жена моя имела неловкость разрешиться маленькой литографией моей особы»,— писал Пушкин В. Ф. Вяземской после рождения первой дочери.

Г. А. Пушкин (1835—1905). «Имею счастие поздравить Вас со внуком Григорьем»,— писал поэт теще в 1835 году.



А. А. Пушкин (1833—1914). В год его рождения Пушкин писал жене из Болдина: «...а каков Сашка рыжий? Да в кого-то он рыж? Не ожидал я этого от него...»



Н. А. Пушкина (в первом замужестве Дубельт, во втором — как морганатическая супруга принца Нассауского — графиня Меренберг, 1836—1913). О ее рождении поэт писал П. В. Нащокину: «Я приехал к себе на дачу 23-го в полночь и на пороге узнал, что Наталья Николаевна благополучно родила дочь Наталью... Дай бог не сглазить, все идет хорошо...»

Старый дом Фризенгофов в Бродзянах.
Снимок сделан в 1967 году.

Лев КИШКИН

ФОТОГРАФИИ БРОДЗЯНСКОГО АРХИВА



Н. Н. Пушкина-Ланская. Фотография 60-х годов.



А. Н. Гончарова. Портрет 40-х годов.

Казалось бы, в наши дни уже нельзя обнаружить какие-то новые материалы, проливающие дополнительный свет на жизнь и творчество Пушкина, на его окружение. И все же это иногда происходит.

Бродзяны — небольшое селение в Западной Словакии. Оно расположено в живописной долине реки Нитры, среди невысоких лесистых гор. В XIX веке здесь находилась усадьба австрийского дипломата Густава Виктора Фогеля барона фон Фризенгофа. Его первой женой была Наталия Ивановна Иванова—приемная дочь тетки сестер Гончаровых. В конце 30-х — начале 40-х годов Фризенгофы жили в России и в это время сблизились с Н. Н. Пушкиной и ее сестрой Александрой. Овдовев, в 1852 году Густав Фризенгоф женился на А. Н. Гончаровой и навсегда увез ее из России в Бродзяны, где она прожила до 1891 года.

Прочитав впервые о Бродзянах и заинтересовавшись судьбой архива А. Н. Гончаровой (Фризенгоф), я выяснил, что до 1945 года все личные вещи и книги свояченицы Пушкина, перешедшие по наследству к ее потомкам, хранились в Бродзянах. В конце войны в имении размещались румынские солдаты, а после их ухода старый дом Фризенгофов остался без надзора. В 1946—1947 годах разборкой уцелевших материалов заин-

мались преподаватели Братиславского университета.

Летом 1967 года я побывал в Бродзянах. Старый дом, где жила Александра Николаевна, обветшал и был пуст. В одной из комнат на втором этаже еще можно было разобрать на косяке двери надписи, обозначавшие рост гостивших в Бродзянах детей Пушкина. В Братиславском университете мне удалось напасть тогда же на след некоторых бродзянских материалов, но, чтобы установить их судьбу, понадобился не один год.

В июне 1974 года я вновь приехал в Братиславу, теперь уже точно зная, где находится часть материалов Бродзянского архива. С волнением поднимался я на последний этаж Братиславского замка, где размещается один из отделов Словацкого национального музея, и с еще большим волнением получил в руки так долго разыскиваемые материалы.

В этой короткой публикации я не смогу рассказать о всех находках — остановлюсь поэтому лишь на трех альбомах.

Два из них — с гербариями. На первом альбоме — золотые инициалы NI (Наталия Ивановна — первая жена Фризенгофа). Просматриваю их. И вот передо мною три листа с датой 1841, на которых читаю знакомые названия «Михайловское», «Тригорское», «Остров». На одном из листов помечено, что гербарий собирали все четверо детей Пушкина и их мать. Долго разглядываю росшие более ста лет назад в Михайловском травы...

Мне посчастливилось увидеть и кожаный светло-коричневый альбом семейных фотографий Александры Николаевны с ее инициалами (A. F.) и баронской короной. Уже на четвертой странице этого альбома я увидел фотографии Григория и Марии Пушкиных, а затем — еще шесть снимков детей Пушкина, несколько поздних фотографий Натальи Николаевны, множество изображений Александры Николаевны, портреты поэта П. А. Вяземского и его жены, Петра Ланского, мужа старшей дочери Пушкина Марии — Л. Н. Гартунга, трагическая кончина которого нашла отражение в одной из сцен «Живого трупа» Толстого (самоубийство Федора Протасова), Сергея Гончарова и др. Фотокопии названных портретов по возвращении в Москву я показал знатоку пушкинской иконографии Т. Г. Цявловской. За исключением фотографий Натальи Николаевны, которые пушкинисты знают, хотя они почти не публиковались, остальные снимки, по ее мнению, до сих пор известны не были.

Но возвратимся к членам семьи поэта.

Наталия Николаевна. Особенно поразила меня одна из ее фотографий, сделанная в начале 60-х годов (в то время она гостила в Бродзянах). Она сидит с открытой книгой в руках, у нее лицо уставшей, много видевшей и много пережившей, но все еще сохраняющей следы былой красоты женщины. Горечь и какая-то затаенная грусть, как мне показалось, усматриваются в этом лице. Наталия Николаевна во всем черном. Это свидетельствует о том, что снимок сделан позже 1861 года, когда умер ее отец. После траура по нему Наталия Николаевна уже не надевала светлых платьев. Вглядываясь в черты жены Пушкина, я вспоминал, что в доме Карамзиных перед последним отъездом на Кавказ ей говорил о своей дружбе Лермонтов, а в 1854 году, познакомившись в Вятке с Салтыковым-Щедриным, Наталия Николаевна помогла ему освободиться из ссылки...

О внешности Александры Николаевны мнения современников были различны. Одни писали, что свояченица Пушкина красива, хотя и уступает его жене (сестра поэта О. С. Павлищева) и что Александра была известна в обществе как бледный ангел (А. И. Кирпичников). Другие считали, что «Александра была очень некрасива» (А. В. Трубецкой), а ее племянница А. П. Арапова видела в чертах тетки карикатуру на внешность матери. Теперь, когда найдено много ее портретов (они были не только в этом альбоме, но и отдельно), мы можем иметь об этом свое мнение. Истина, как это нередко бывает, оказалась где-то посередине. Во всяком случае, лицо Александры Николаевны на портрете в овальной раме, который относится к русскому периоду ее жизни, назвать некрасивым нельзя. На более поздних фотографиях усматриваются воля и решительность, какая-то жесткая суровость. Очень впечатляюща фотография Александры Николаевны на склоне лет: жизнь прошла, страсти утихли...

Почти все снимки детей Пушкина датированы 1861 годом. Марии в ту пору было 29 лет, Александру — 28, Григорию — 26, а Наталии — 25. Такими их еще никто из нас не видел. И в каждом из восьми найденных портретов мне приоткрывались живые черты Пушкина.

Все дети поэта свято чтили память отца и сохранили для потомков многие его рукописи и вещи. Старший сын поэта, А. А. Пушкин, спас от гибели библиотеку отца, вывезя ее в 1860-е годы из подвалов казарм полка П. П. Ланского. В 1906 году библиотека была передана Пушкинскому дому. А. А. Пушкин сберег и архив отца и в 1880 году передал его Румянцевскому музею. Долго живший в Михайловском, Г. А. Пушкин бережно сохранял там многие вещи отца. В 1899 году, идя навстречу пожеланиям передовой русской общественности, он продал казне усадьбу в Михайловском с тем, чтобы она стала общенациональным достоянием. Старшая дочь поэта, Мария (черты ее внешности Толстой использовал при создании образа Анны Карениной) была почетной попечительницей библиотеки имени А. С. Пушкина в Москве, младшая — в 1882 году передала Румянцевскому музею 62 письма отца к матери.

В 1880 году все дети Пушкина съехались в Москву, на открытие памятника поэту и первыми возложили венок к его подножию. Тогда на одном из торжественных обедов в их честь был произнесен тост, к которому присоединились Тургенев, Достоевский, Аксаков, Островский и многие другие. В связи с 50-летием со дня смерти Пушкина его старший сын заказал панихиду в Конюшенной церкви. На этой панихиде присутствовал писатель Гончаров. В 1899 году братья Александр и Григорий Пушкины вместе с другими родственниками приняли участие в возложении на могилу отца серебряного венка. Таков краткий комментарий к портретам детей Пушкина.

Бродзянский архив лишь отчасти приоткрыл нам свои тайны. Найдено, в сущности, далеко не все, что в Бродзянах было. Поиски должны продолжаться.

В середине 20-х годов, еще не будучи женат, Пушкин писал: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие... Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца». Об этих его словах вспоминалось мне при завершении рассказа о бродзянских материалах.

Недавно из Словакии пришла приятная весть: в Бродзянах предполагается открыть Музей русско-словацких литературных отношений, в котором будут мемориальные пушкинские комнаты.



МЕТАМОРФОЗЫ АЛЕКСАНДРА ГРАДСКОГО

Широкому слушателю Александр Градский был до сих пор известен по радиопередачам — его песни «Синий лес», «Испания» и другие много раз звучали в программах радиостанции «Юность» и побеждали в разных песенных радиоконкурсах. Слушатели немедленно отреагировали на появление в эфире нового голоса, сильного и звонкого, оценили песни, простые, не банальные, выгодно отличающиеся от «среднеарифметической» песни, преобладающей в радиопотоке.

А теперь на экраны вышел новый двухсерийный фильм с музыкой Градского: «Романс о влюбленных», — снятый 37-летним кинорежиссером Андреем Михалковым-Кончаловским. Уже само название фильма — грустное и слегка сентиментальное — музыкально; не рассказ, не повесть — романс! Фильм обещает много музыки, и в нем действительно ее много — шесть песен и несколько оркестровых эпизодов. Причем песни эти не останавливают действие, а играют важную драматургическую роль — это логические и эмоциональные «поворотные пункты». Так что в фильме заметны черты драматического мюзикла: чтобы выразить свои чувства, герои начинают петь (как в опере) и двигаться, танцевать (как в пантомиме или в балете).

Приглашение совсем еще молодого музыканта, студента вокального (а не композиторского!) факультета Музыкально-педагогического института имени Гнесиных в качестве автора музыки двухсерийной картины — факт для нашего кинематографа беспрецедентный. Но герои фильма молоды, сегодняшни — и это потребовало, чтобы и музыка была сегодняшней, чтобы в ней присутствовали, если хотите, все плюсы и минусы современной эстрады, чтобы музыка была близка «музыкальному языку» сегодняшней молодежи. Вот почему приглашение Градского логично. Михалков-Кончаловский сделал выбор абсолютно точный.

О молодежи, запечатленной на киноленте, спел ее сверстник. Спел, кстати говоря, все мужские песни картины («продублировав» на звуковой дорожке фильма таких артистов, как Евгений Киндинов и Иннокентий Смоктуновский). Спел ясно, просто и достоверно. «Не скрою,— говорит режиссер «Романса»,— мы пробовали и других певцов. Но оказалось, что лучше всех исполняет песни Градского сам Градский. Причем у нас была своя сложность — песни эти должны, конечно, звучать профессионально, и в то же время необходимо было создать иллюзию, что поет герой фильма, простой парень, ну, скажем, водитель автобуса. Создать иллюзию непрофессионализма. Градскому все эти перевоплощения удаются легко. Потому что он талантлив разнообразно...»

Последнюю реплику Михалкова-Кончаловского можно отнести и к самой музыке «Романса о влюбленных». Ведущим элементом в ней являются задорные ритмы бита, звучащие порою в совершенно неожиданных ситуациях, например, в эпизоде «маневров». Мы привыкли в таких случаях к бравурным маршам. Но

На снимке: Иннокентий Смоктуновский, Евгений Киндинов и Александр Градский на озвучивании фильма «Романс о влюбленных».

вот они-то и оказались бы здесь неуместными, а сдержанно-напряженный ток битового ритма прекрасно передал атмосферу «военной работы». Но музыка фильма — это не один лишь бит. Здесь и интонации «бардо-менестрельного» романса — такова «Песня о птицах» (на слова Н. Глазкова). И плавные «колыбельные» распевы («Песня о матери» на слова Н. Кончаловской), и буйные уличные частушечные выкрики («Ну и денек!» на слова Б. Окуджавы). Одним словом, широкий интонационно - ритмический ассортимент песен-танцев современного города! Песни лихие и грустные, обращенные к закадычным друзьям и к матери Родине!.. И в каждом случае Градский нашел свое индивидуальное решение. За каждой песней стоит отдельный, точно вылепленный образ...

Кто же он такой, Саша Градский?

Родился в ноябре 1949 года на Урале, в семье горного инженера, но с детства жил в Москве. В музыкальной школе учился по классу скрипки. Потом начал играть на гитаре. Потом петь. Это была эпоха повального увлечения Робертино Лоретти, и Градский тоже поет под Робертино.

В 1965 году шестнадцатилетний Градский становится музыкантом одного из первых в Москве вокально - инструментальных ансамблей. «Назывались «Славянами»,— вспоминает сейчас Градский,— а пели... по-английски. Песен на русском языке в этом жанре еще не было написано. А до своих песен мы тогда попросту не доросли...»

Через два года Градский организует новый состав — «Скоморохи». На сей раз с английским языком было покончено: основной репертуар «Скоморохов» звучал на сочном русском. Сейчас это может казаться забавным, однако 18-летним исполнителям пришлось делать самим этот репертуар — большинство композиторов-профессионалов тогда еще не осознало бит как музыкальную реальность, которая становилась новым стилевым этапом в развитии советской песни! Стихи Саша писал сам — либо брал классику и современных поэтов: С. Маршака, Н. Асеева, Р. Казакову, Гарсиа Лорку, Роберта Бернса.

«Вообще-то современная популярная музыка имеет ряд особенностей,— говорит Градский.— Например, она «удобнее» ложится на короткие английские слова, чем на длинные русские. Правда, это неудобство можно и обойти; например, в тухмановской песне «Жил-был я...» (на стихи С. Кирсанова) строчки состоят из коротких односложных слов: «Жил-был я...», «В порт плыл флот...» и так далее. Конечно, таких стихотворений в русской поэзии не слишком много. Значит, надо приспосабливаться. Все-таки хорошие стихи — это всегда хорошие стихи. Мне вот, например, кажется, что к современной эстраде очень подходит поэзия Пушкина. Очень нравятся стихи Гамзатова. Жаль, что в русском переводе они ямбические, а мои песни в основном хореические...»

Шесть лет (за малыми исключениями) Градский выступает со «Скоморохами». Роль этого ансамбля в современной нашей эстраде значительна: он был такой творческой лабораторией песни, в которой можно было экспериментировать, пробовать свои силы в различных стилях.

«Скоморохи» неоднократно побеждали на различных фестивалях и конкурсах, например, на фестивале политической песни «Юность обличает империализм» или на горьковском фестивале молодежных вокально-инструментальных ансамблей «Серебряные струны-1971». Около дюжины песен из репертуара ансамбля записала молодежная радиостанция «Юность». Переданные в эфир, они, как я уже писал выше, завоевали «Скоморохам» и Градскому персонально широкую популярность...

«Скоморошьи» выступления носили, как и полагается, несколько театрализованный характер. В песнях Градского были и сатира, и гротеск, и «черный юмор»... Были песни гражданского склада — например, «Испания» на слова Н. Асеева, посвященная памяти Гарсиа Лорки... Была даже маленькая «рок-опера» на стихи К. Чуковского («Муха-Цокотуха»). И все-таки больше всего Градский склонен к песням лирическим («Ты меня оставил...», «Подруга угольщика», «Финдлей», «Джон Андерсон» — на слова Р. Бернса в переводах С. Маршака, «Осень», «Ты и я» — на собственные слова)...

В 1971 году Градский принимает участие в записи песен Д. Тухманова на его пластинку «Как прекрасен мир». Тухманов поручает ему две, быть может, лучшие песни своего нового альбома —«Джоконду» и «Жил-был я...». Песни очень интересные, нестандартные, необычайно щедрые мелодически (из одной «Джоконды» при «бережном расходовании» материала можно было выкроить целых четыре песни!). Обе исполнены Градским очень сильно; иное «прочтение» их трудно даже представить. Молодой артист не просто поет, он еще и великолепно рассказывает сюжет — качество, которое встречается далеко не у всех эстрадных исполнителей!

В феврале 1973 года, во время одной из записей для радиостанции «Юность», произошло знакомство Градского с Андреем Михалковым-Кончаловским. Режиссер искал тогда для своего нового фильма певцов, обязательно молодых, современных, предпочтительно даже неизвестных... Вопрос о приглашении Градского в картину был решен безотлагательно... Но вот — на амплуа певца ли?..

В конце концов Градский стал и композитором и певцом «Романса о влюбленных».

Закончен Гнесинский институт. Градский сейчас на распутье: куда идти дальше, что делать?

«Знаешь, чем больше я думаю о будущем, тем сильнее склоняюсь к мысли покончить со всей этой эстрадой, песнями, битом, гитарами. Ведь я прежде всего оперный артист, и хочу петь Большую Музыку — Германа, Фауста...»

Он говорит мне это, и я знаю, что ему действительно хочется попробовать себя в классическом репертуаре, но «всю эту эстраду», как мне кажется, он уже не может бросить.

«Я легко вошел бы в любой ансамбль Рос- или Москонцерта. Но я не хочу становиться «эстрадным артистом». Потому что там царят свои законы... там каждодневность диктует, как петь и что петь. Мне же хочется доказать свое право на «видение» мира, искусства, песни...»

Это уже ближе к истине.

«Над чем сейчас работаю сам? Много говорить не буду, работа не закончена, а в двух словах — «Стадион». Тот самый стадион в Сантьяго, где хунта истязала борцов за свободу, где погиб замечательный чилийский певец Виктор Хара. Произведение, в котором отдельные номера-песни будут чередоваться с речитативами, сквозным действием, хоровыми ансамблями. Эта «песенная опера» должна занять две стороны долгоиграющей пластинки. Сочиняю ее с упоением, но до конца, по правде говоря, еще далеко».

Таков Градский.

Аркадий ПЕТРОВ

ПРОЗА